ГЕОРГИЙ ПЕСКОВ

В РАССЕЯНИИ СУЩИЕ

ПАРИЖ

ГЕОРГИЙ ПЕСКОВ

(Е. А. ДЕЙША)

В РАССЕЯНИИ СУЩИЕ

ПАРИЖ

1959

одним - помогает, а другим - нет

Вернувшись после долгого отсутствия в Париж, Косарев разыскал Васильева в туберкулезном отделении одного из городских госпиталей, и стал каждую неделю навещать.

Он приносил ему газеты, журналы, иногда — еще что-нибудь. Васильев, с нудными медицинскими подробностями, рассказывал о своей болезни, жаловался на врачей и сиделок, на госпитальные порядки вообще. Говорили о происходящем в России; о политике французского кабинета; об общих знакомых. Имя Нины ни тем, ни другим не было произнесено ни разу.

В ранней молодости Косарев и Васильев были друзьями. С Ниной Лазаревой, молоденькой и очень бойкой девицей, оба они познакомились на какой-то вечеринке. И оба в нее влюбились. Косарев был гораздо интереснее своего приятеля. Нина кокетничала с ним, «завлекала», как он говорил, позволяля украдкой себя целовать. А потом, вдруг, для всех неожиданно, вышла за Васильева. «Завлекать» Косарева, однако, не перестала. Раз, несколько месяцев после свадьбы, когда они были вдвоем, она бросилась ему на шею, и со слезами стала уверять, что брак ее — ужасная ошибка, что она несчастна, так как любит его одного... Косарев «не устоял». И этого-то, то есть предательства по отношению к другу, он никогда не мог себе простить. Бывать у них он перестал, а на недоумевающие вопросы Васильева ответил: «Спроси у своей жены». Нина, как он потом узнал, объяснила мужу, что ей пришлось выгнать Косарева, потому что он к ней приставал.

Во время оккупации Косарев слышал, что Нина своего мужа бросила и живет с немецким офицером; говорили тоже, будто Васильев покушался на самоубийство. Потом он несколько лет не имел о своем бывшем приятеле никаких сведений. Когда они теперь встретились, — от прежней дружбы мало что оставалось: Косарев приходил исполняя долг, из жалости. Хотел, может быть, и вину свою загладить. Васильев это чувствовал. Обоим было неловко.

Придя как-то в неурочный день, Косарев застал сидевшую около койки Васильева пожилую даму. Они горячо спорили. Васильев сердился, дама казалась расстроенною.

Небольшая, тоненькая, лет шестидесяти, она имела очень привлекательную наружность: от серебристо-белых кудрей, лицо ее казалось не бледным, а — светлым. Глаза — большие, детски-ясные — были тоже необыкновенно светлы.

И сразу, как только, увидав его, она улыбнулась, Косарев почувствовал себя будто, после долгой разлуки, кого-то родного встретил. Он не помнил, чтобы при первом знакомстве с кем-либо другим подобное испытал.

«Кто она такая? Почему Васильев мне о ней не говорил?» — думал он. — «И почему он нас не знакомит? Ему, как будто, неприятно, что мы встретились».

Дама, заторопившись уходить, стала вынимать из клеенчатой сумки принесенные для больного яйца, ветчину в бумажке, бутылку сиропа, сухари. Васильев следил за нею с иронической усмешкой. Простившись, она пошла к двери, но вернулась, и стала искать свой зонтик.

— Не было у вас зонта, — раздраженно сказал ей Васильев. — Вам, Эльза Эдуардовна, надо что нибудь принимать от забывчивости.

— Разве есть такое лекарство? — спросила она, не заметив насмешки. Потом, поняв, добродушно и застенчиво засмеялась.

— Кто это? — спросил Косарев, когда она вышла из палаты.

Васильев сделал пренебрежительную гримасу:

— Так... особа одна добродетельная. По госпиталям русских посещает. Ничего старушенция. Наивная только ужасно. Ну, и проповедывать чересчур охотница: «Надейтесь на Бога», говорит. «Я, как только что, — прямо к нему. И Он мне всегда, всегда помогает». «Отчего же», спрашиваю ее, «*вам* Он помогает, а мне — нет?» Подумала немножко, да и говорит: «Вы, по-моему, сами Ему мешаете». Точно, понимаешь, о знакомом каком-нибудь. — Васильев раскашлялся, отхаркнул мокроту в стакан. — Она, видишь ли, по рождению-то — протестантка. Потом, кажется во время войны, — православие приняла. Вот теперь и старается, не за страх, а за совесть.

Косарев стал нарочно приходить в те дни, когда бывала Эльза Эдуардовна. Он скоро с нею подружился. Вечером заходил иногда в ее маленькую уютную квартирку. Он заставал ее обыкноенно за чертежной доской: рисовала каталоги для одного из Больших магазинов.

Она нравилась ему все больше. Нравилась даже своими чудачествами: рассеянностью, забывчивостью (всегда говорила: «Дай, Бог, памяти!»), совершенной неспособностью понимать васильевские колкости. Особенно нравилось ему, что она думала и выражалась по-своему, непохоже на других.

Когда они выходили раз вместе из госпиталя, она с сокрушением сказала:

— Неготов он!

— То есть как «неготов»?

— Приготовиться ему надо: он не долго протянет.

Косарев заметил ей, что Васильев неверующий.

— Он не неверующий, а недоверчивый, — возразила она. И, пристально на него взглянув: — Вроде вас. Мало Богу доверяете. Сами напутаете, а потом на Него спихиваете.

Тут Косарев к удивлению своему узнал, что прошлое его приятеля Эльзе Эдуардовне до мелочей известно. Постоянно за глаза над нею смеясь, Васильев, стало быть, со «старой чудачкой», в то же время, откровенничал?

Сообщила Эльза Эдуардовна Косареву и тайну тех споров, за которыми он не раз ее с Васильевым заставал: она, оказывалось, уговаривала его помириться с Ниной.

— Зачем это? — удивился Косарев.

— Как «зачем»? Ведь ему умирать.

Несколько шагов они шли молча.

— Жена его, вы, наверно, знаете, опять здесь, в Париже, — начала Эльза Эдуардовна. — Сперва он слушать не хотел, злился. Потом обещал. Даже адрес мне дал, чтобы я ей написала. А следующий раз прихожу: «Не смейте, говорит, ей писать. Я передумал». Упрям! Ну, да Господь на его упрямство смотреть особенно не станет!

В этом разговоре Эльза Эдуардовна кое-что от Косарева скрыла. Но хитрить она была неспособна, и скоро призналась: тайком от Васильева она Нине все-таки написала.

— Месяца уж два прошло. А ответа все нет! — прибавила грустно. — Собираюсь теперь к ней съездить. Только, ради Бога, ни слова ему! Он грозится, что, если поеду, совсем меня пускать к себе не велит.

— Косарев обещал молчать, но ездить он ей решительно отсоветовал.

— Ничего из этого не выйдет. Нина — пустая, бессердечная женщина. Эгоистка до мозга костей.

— Ну, ну! уж и «до мозга костей»! — с мягкой улыбкой перебила Эльза Эдуардовна.

По этой улыбке Косарев догадался, что история его с Ниной была ей тоже известна. Сам удивился почувствовав, что это ему почему-то приятно.

— Оба вы *ее* вините, — осторожно продолжала Эльза Эдуардовна — А ведь, кто знает? может быть тут и его и ваша вина есть... Любит он ее до сих пор без памяти!

Это последнее замечание удивило Косарева. Он хотел возразить. Но ничего не сказал: слова «старой чудачки» заставили его задуматься.

В августе Васильеву стало хуже: началось сильное кровохарканье, боль в горле. Говорить он мог теперь только шепотом. Температура поднималась вечерами иногда до сорока. Он сделался еще раздражительнее. Когда Эльза Эдуардовна спрашивала, что ему принести, говорил:

— Ничего не нужно. Виноград ваш есть невозможно, — кислятина. Вчерашняя курица — безо всякого вкуса.

Косарев его потом за это слегка упрекнул.

— Ничего, — ответил он с недоброй усмешкой, — ей за меня на том свете орденок дадут.

Эльза Эдуардовна ходила теперь каждый день. Она все порывалась заговорить с Васильевым о примирении с женой. Другою своей обязанностью она считала устроить так, чтобы умирающий причастился. Косарев ее энергично отговаривал: боялся, что своими приставаниями она Васильеву только повредит.

— Ну, что Богу с такими господами делать прикажете? — сокрушалась она. — И вот ведь еще какое затруднение: он, оказывается, на пять лет запрещен.

Видя, что Косарев не понимает, она пояснила:

— К причастию не может быть допущен.

— За что же это? — удивился тот.

— Ведь они разведены. Вы не знали? Да, раведены. Вину он на себя взял. А таких запрещают. Ну, да это я устрою. До митрополита дойду, а устрою. Лишь бы согласился.

Придя в госпиталь дня через три, Косарев сразу увидел в Васильеве страшную перемену. Он лежал высоко на подушках, с запрокинутой головой, с опущенными на выпуклые глазные яблоки синими веками. На худой шее резко выдавался хрящеватый кадык.

— Температура спала, — просипел он, с трудом приподнимая правое веко.

Эльза Эдуардовна, которая тут же сидела, бросила на Косарева многозначительный взгляд. Косарев посмотрел ви-

севшую в изголовье таблицу температур. «Конец!» — подумал.

Они хотели выйти вместе, но Васильев опять приподнял веко и сделал Эльзе Эдуардовне слабый знак рукой, чтобы она осталась. Косарев вышел один.

Через несколько минут Эльза Эдуардовна догнала его в коридоре. Глаза ее были полны слез, но сияли.

— Привести ее скорее велел. Причаститься — тоже согласен. У владыки я была: все улажено. Теперь вот что, голубчик, — свободны вы? Ну, отлично! Он обязательно хочет *сначала* с женой примириться. Просто — условием поставил. Так я батюшку часам к шести попрошу. Я уговорилась, — здесь пустят. А вы поезжайте сейчас же за нею. Постойте, надо вам адрес дать.

Они уже были в госпитальном саду. Эльза Эдуардовна, присев на скамейку, стала рыться в своей сумке, всегда до отказа набитой всякой всячиной.

— Как можно скорее ее привозите, — продолжала она, не прерывая поисков. — Только, голубчик, пожалуйста, прошу вас, вы не думайте про нее какая она там есть, и не сомневайтесь. Ни в чем, главное, не сомневайтесь. Я знаю, у вас всегда сомнения. А вы — просто. И сами верьте. Куда же это он девался? — перебила она свои наставления. Вынимала и раскладывала по скамейке носовые платки, ключи, портмоне, огрызок карандаша, множество бумажек. — Поищите, пожалуйста. Она маленькая, голубенькая.

Косарев перебрал все бумажки, но «голубенькой» между ними не оказалось.

— Ну, значит, дома у меня, — решила Эльза Эдуардовна. — Хотя странно: я, чтобы не потерять, ничего нужного из сумки не вынимаю.

Они вместе пошли к ней, стали искать. Эльза Эдуардовна очень огорчалась, поминутно повторяла: «Дай Бог, памяти!» А Косареву все вспоминались слова Васильева: «Отчего *вам* он помогает, а мне — нет». Тогда он почти не обратил на них внимания, а теперь не мог отделаться. Отчего, в самом

деле, этому (в сущности, хорошему) человеку — так не везло в жизни? Отчего, даже теперь, глупая случайность готова лишить его последнего утешения?

— Я, когда он дал мне, подумала: «Надо в сохранное место спрятать». Вот и засунула, что не найдешь! — продолжала причитать Эльза Эдуардовна. — Голубенькая бумажка! Он от какого-то письма оторвал. И размашисто так написано: «Нина живет теперь на рю...» А какая рю, — хоть убейте, не помню! И он не помнит: беспокоился сейчас, цел ли он у меня.

Косареву пришла мысль позвонить одной знакомой, у которой мог быть этот несчастный адрес. Эльзе Эдуардовне он сказал, что идет звонить по своему делу. Не хотел ее зря обнадеживать: мало, почему-то, рассчитывал на успех. Так и вышло, — знакомую он застал, но адреса она не помнила.

«Что теперь делать? Что предпринять?» — возвращаясь от телефона, терзался Косарев.

Эльза Эдуардовна встретила его сияющая, с обрывком голубой бумажки, которым помахивала.

— Вот он! Представьте, только что вы ушли, я подумала: «Чего я волнуюсь? Чтобы через мою глупую рассеянность наш Александр Васильевич пострадал, — да никогда Бог такой несправедливости не допустит!» Только подумала, сейчас и вспомнила: в толстый словарь положила. Потрясла словарь, она и выпала! Поезжайте скорее и привозите ее прямо в госпиталь.

Когда Эльза Эдуардовна говорила, — и так уверенно — что он привезет Нину, Косареву несколько раз хотелось возразить: во-первых, адрес старый, может быть она там больше не живет... Во-вторых, неизвестно, застанет ли он ее дома... В-третьих... Но всех этих опасений он Эльзе Эдуардовне не сообщил: во время вспомнил, как она умоляла его не сомневаться.

— Берите такси! — крикнула она ему вдогонку, когда он уже сбегал с лестницы.

Несясь в автомобиле на противоположный конец Парижа, Косарев не мог отделаться от обрывков мучительных мыслей: «давно переехала...», «нужно ей очень, что он при смерти»... И опять неотвязчиво лезло: «*Вам* помогает, а *мне* — нет».

Только очутившись на тротуаре перед высоким старым домом, он взглянул на адрес. Этаж не был указан.

Постучал в ложу консьержки. На его вопрос, в каком этаже живет мадам Васильева, консьержка, толстая и злая, как почти все парижские консьержки, отрываясь на минуту от разложенного на столе рукоделия, спокойно ответила, что такой квартирантки в доме нет.

«Так и есть!» — подумал Косарев.

— Не знаете ли, куда она переехала?

— Я не могу знать, куда она переехала, потому что она никогда здесь и не жила, — сказала консьержка.

— Как же мне адрес дали? Смотрите, и улица, и номер дома.

— Кто вам неверный адрес дал, того и спрашивайте. А здесь такой нет.

Сказав это, она опять углубилась в свою работу.

«*Вам* — помогает, а *мне* — нет!»

Косарев постоял в нерешимости. Потом, торопясь, чтобы консьержка не увидала, быстро прошел вестибюль, и стал подниматься по полутемной лестнице, мимо чужих запертых дверей. Что было деалть? Звонить в каждую квартиру? Подумал, что Эльза Эдуардовна так именно, конечно, и поступила бы.

Снизу зазвучали быстрые женские шаги. «Это Нина!... Нет, невозможно!»

Его обогнала незнакомая дама. На четвертом этаже, перед дверью зубного врача, она остановилась. Косарев хотел тоже остановиться, подождать когда отопрут, спросить... Но это показалось неудобным: консьержка могла услышать, что он беспокоит квартирантов.

Продолжал подниматься. Дошел до шестого этажа. Дальше идти было некуда.

Некоторое время он стоял на площадке, с тяжелым волнением прислушиваясь к доносившимся из недр этого дома звукам. Как будто надеялся различить среди них знакомый голос. Гулкий, но невнятный разговор доносился снизу. В двух шагах от него, за запертой дверью квартиры, залаяла почуявшая его собаченка. Косареву вдруг непреодолимо захотелось позвонить в эту чужую квартиру, рассказать незнакомым людям, все равно кому, про то, что обиженный им когда-то друг, умирая в госпитале, ждет жену, которая его обманула и бросила, но которую он продолжает любить... Захотелось просить их войти в положение, понять, помочь... Он протянул уже руку к звонку. Но сейчас же, будто его электрическим током продернуло, поспешно ее отнял. Каждым напряженным нервом почувствовал он в эту минуту всю абсурдность, всю немыслимость своего предприятия: Нины в доме нет, найти ее в Париже невозможно. И нет даже вокруг него человека, с которым он мог бы посоветоваться или хотя бы поделиться своим отчаянием... «С консьержкой разве?» — подумал со злой издевкой.

Спускался он с лестницы очень медленно: какая-нибудь счастливая случайность могла разом все устроить. Вдруг отворится одна из дверей... Кто-нибудь попадется навстречу... Или сверху сойдет... Но ничего не случилось. Да он, в сущности, и не надеялся, что случится. Не позволял себе надеяться. Собаченка в запертой квартире шестого этажа продолжала яростно лаять. «*Вам* помогает, а *мне* — нет».

Несколько минут спустя, Косарев уже сидел в такси и мчался обратно в госпиталь.

Эльза Эдуардовна стояла перед стеклянной дверью в палату. Рядом с нею стоял молодой священник.

— Вы одни?! — Испуганно-умоляющим движением она сложила перед собою руки.

— Она там не живет.

— Как «не живет»! Только что была здесь дама, сказала, что вы ей звонили, спрашивали адрес. Она его нашла, это тот же самый. Да вы... под какой фамилией ее искали? —

спохватилась она вдруг. — Ведь они разведены, я вам говорила. Она под своей девичьей фамилией живет.

— Как мне в голову не пришло? — пробормотал Косарев. — Эта проклятая консьержка... Я сейчас съезжу!

— Не успеете, — перебила Эльза Эдуардовна. — Ему уж пикюр сделали. Лучше уговорим его причаститься. Войдемте вместе, батюшка.

— Нет, что вы! ради Бога! Разве можно так вдруг? — остановил Косарев. — Надо его предупредить.

— Если опасаетесь, идите предупредите, — сказал священник. — Только не мешкайте уж.

Косарев заглянул в палату. Васильев лежал в прежнем положении. Около его столика возилась с инструментами инфирмьерша. С соседних коек, приподнявшись, смотрели больные.

Косарев, за ним Эльза Эдуардовна вошли в палату, тихо приблизились к койке умирающего.

— Нина здесь? — спросил он лишенным интонации хрипом.

— Сейчас придет, — сказала Эльза Эдуардовна. Не обращая внимания на знаки, которыми удерживал ее Косарев, она решительно и поспешно прибавила: — Батюшка здесь. Вам, Александр Васильевич, причаститься надо.

Васильев не ответил. Но он слышал, он понимал.

Косарев и Эльза Эдуардовна не сводили с него глаз. Веки умирающего заметно отекали.

— Батюшка, скорее! — неожиданно громко произнесла Эльза Эдуардовна, бросаясь к двери.

Священник быстрыми шагами подошел к койке.

— Не за-хо-те-ла, — прохрипел Васильев.

Инфирмьерша, не торопясь, взяла его пульс. Но, почти тотчас, оставила. Пощупала шею и, покачав головой, равнодушно сказала:

— C'est trop tard!

Через три дня, в маленькой комнате, рядом с мертвецкой, тот же священник отпевал покойника.

Они стояли втроем: Эльза Эдуардовна, Косарев и Нина. Снаружи то и дело заглядывали служащие похоронного бюро, спешившие покончить с дешевыми похоронами.

Нина, вся красная, распухшая от слез, громко по временам всхлипывала. Большие светлые глаза Эльзы Эдуардовны казались еще больше и светлее. Она держала Нину под руку и, с осторожной лаской, прижимала к себе ее локоть.

Косарев уже знал от Нины, что, когда он стоял тогда на площадке шестого этажа, она была в двух шагах от него, в квартире, где лаяла собаченка. Хотела даже выйти посмотреть, на кого она лает. «Почему она не вышла?» — упорно задавал он бесплодные теперь вопросы. — «Почему опустил я протянутую к звонку руку? Почему одним — помогает, а другим — нет?»

маметте

Анне Ивановне наконец посчастливилось устроиться в Париже: мадам де Шателар, давнишняя благодетельница, сыскала ей в русской семье место приходящей няни и, что гораздо труднее было, маленькую квартиру в две комнаты с кухней.

Приготовив своему Léon утренний завтрак, Анна Ивановна спешит на работу. Целый день она стирает, моет биберончики, перепеленывает и кормит порученного ей ребенка, вспоминая при этом как, двадцать пять лет тому назад, делала то же самое со своим.

«Для матери лучшее время пока ребенок в пеленках» — думает она иногда. — «А там, не успеешь оглянуться, в школу пойдет, будет учить французские департаменты и про Верценжеторикса; в наказание за неприготовленный урок, будет по двадцать раз писать: «Je ne suis pas en régle».

Анна Ивановна ясно видит своего Леву в блузе, какие тогда носили французские школьники, с перепачканными чернилами руками, сидящего над «проблемой», озабоченно шепчущего:

— J'écris 5 et je retiens un.

Совсем он другой теперь. Не от возраста только, а както внутренне другой. Хуже разве? — пугается она своего чувства сожаления о прошлом. — Меньше она его, что ли, любит? Ах, нет! может быть даже — больше, во всяком случае — мучительнее. Только тогда — он был Левой. Теперь — Léon.

Когда, после ухода немцев, Анна Ивановна, чтобы повидаться с сыном, на несколько дней приехала в Париж, Лева жил в интернате частной школы. Ему тогда уже исполнилось пятнадцать. Она увезла его на конец недели к себе в отель. Ей показалось, что Лева за эти 5 лет совсем от нее отвык. Он плохо выглядел, жаловался, что тикеты директор у них отбирает, а есть дают недостаточно. Анне Ивановне тоже нечем было его подкормить. Ей подумалось, что, во время экзода, она напрасно оставила его у мадам де Шателар. А тогда казалось, что так для Левы будет лучше. Во всех житейских невзгодах и неудачах Анна Ивановна всегда винила себя: «Я — глупа, поэтому все так плохо и получается».

Лева о себе рассказывал мало. Больше — ее расспрашивал. Интересовали его в ее жизни на юге вещи, казалось бы, маловажные: сколько комнат было в квартире, была ли там хорошая мягкая мебель, ковры, как у мадам де Шателар. Держали ли, кроме нее, живущую прислугу.

— Зачем тебе это? — удивлялась Анна Ивановна.

— Я, когда сдам башо, непременно устроюсь так, чтобы иметь много денег, — не отвечая, сказал Лева.

— Деньги счастья не приносят, — возразила она. И тут в первый раз почувствовала, что говорить ему такие вещи надо как-то иначе. А, может быть, и совсем нельзя.

— Богатых все уважают, — заметил Лева. — Новый сюрвейян спрашивал меня: «C'est votre tante, madame de Châtelard?» Я сказал: «да».

— Зачем же ты сказал неправду? — опять не удержалась Анна Ивановна

Он пожал плечами.

Потом пришел Аскочин. С ним она тоже пять лет не виделась. Он мало изменился: все таким же моложавым выглядел. Имел, как и раньше, хорошее инженерское место. Перед экзодом он за Анной Ивановной ухаживал. Если бы она тогда захотела, она могла бы выйти за него замуж. Но она не захотела; главным образом из-за Левы. Теперь об этом не могло быть и речи: он все еще интересный мужчина, она — почти

старуха. Анна Ивановна не жалела об упущенной возможности: на что ей муж? жизнь ее до краев полна любовью к Леве.

Когда Аскочин ушел, Лева спросил:

— Мама, почему ты не вышла за него замуж?

— С чего ты взял? — смутилась Анна Ивановна.

— Мадам де Шателар говорила.

Каждый занятый своими мыслями, они помолчали. Анна Ивановна думала, что, не выйдя за Аскочина, она опять сделала ошибку.

— А ты... хотел бы? — с запинкой спросила. — Тебе не достает отца?

Поворотом шеи и плеч Лева выразил недоумение:

— Что значит «не достает отца»? У тебя иногда des idées bizarres, мама. Я просто нахожу, что это могло бы нас устроить.

И все-таки тот мальчик, с которым она провела тогда три мучительных дня в нетопленной комнате отеля, был — Лева. Вернее, это был еще немножко Лева. Не совсем Léon.

А теперь, когда, год назад, она приехала из Ниццы, ее встретил улыбающийся молодой француз, который сразу взял с нею мило-шутливый тон.

— У вас прелестный сын! — говорили ей знакомые. Знакомым нравилось, когда Léon брал ее за подбородок и ласково-насмешливо спрашивал: — Nous sommes mal lunée, mamette?

Но самой ей это не совсем нравилось: хотелось быть для него не «mamette», а — мамой. Давая ему житейские советы, она чувствовала, что Léon находит их demodés и смешными. Советов он у нее, впрочем, и не спрашивал. Он всегда сам знал, как ему поступать.

Раз, вскоре после ее приезда, Léon, вернувшись домой, просто сказал:

— Поздравь меня, mamette: я поступаю в бюро мосье Жиру. От урока я откажусь, университет тоже придется бро-

сить. Какой смысл делать эту лиссанс, которая не дает мне никаких авантажей.

— Папа твой всегда желал, чтобы ты стал, как он, ученым, — заметила она грустио.

Léon, сняв свой выходной костюм, аккуратно распяливал его на вешалке..

— Это, по крайней мере, даст мне возможность как следует одеваться, — сказал.

Служба пришлась Léon по вкусу. По вечерам он возвращался в приятно-самодовольном настроении.

— Дело идет на лад! — Западно-европейским жестом он потирал и похлопывал друг о дружку озябшие руки. — Патрон мною доволен, это главное. Он, между прочим, заметил, что я всегда ухожу последним. «Vous au moins, vous n'êtes pas pressé de partir, comme les autres», — он мне сказал.

— Смотри, чтобы сослуживцы не стали считать тебя плохим товарищем, — предупредила она не очень решительно.

— Je m'en fiche! — парировал Léon. — Я не мешаю им делать столько же, — прибавил он, думая, что говорит по-русски.

Однажды он вернулся особенно радостно-возбужденным. Не зная еще в чем дело, Анна Ивановна обрадовалась в кредит. Léon принял шутливо-важную позу:

— Патрон пригласил меня к себе!

Анна Ивановна слышала, что французы редко приглашают на дом. А тут еще патрон — своего служащего, да иностранца. У мосье Жиру была взрослая дочь. Со своею матерью она иногда заезжала за папа в его бюро. На днях Лева оказал дамам маленькую услугу: снес в автомобиль пакет, который они без труда могли бы снести и сами. Он говорил тогда, что он им, видимо, понравился. Не по их ли желанию он теперь приглашен?

Анна Ивановна и обрадовалась и испугалась: в будущем представлялась возможность романа между Левой и дочерью патрона. Но что это за девушка? Может быть — кокетка, как все они теперь. Сделает ли она Леву счастлимым? И по-

том, — еще неизвестно, согласится ли патрон отдать ее за бедного иностранца.

За обычной работой, стирая в чужой кухне пеленки чужого ребенка, Анна Ивановна несколько дней все думала об этом, ею же самой сочиненном, романе.

В воскресенье после обеда она напутствовала Léon советами устарелого савуар-вивра:

— Старухе можешь поцеловать руку, но барышне — ни в каком случае.

— Не беспокойся, mamette, — захохотал Léon, — я уж сам разберу, кому целовать. А «старухи» там вообще никакой не имеется.

— Как же, а — мать?

— Не всякая мать — старуха. Между прочим, mamette, отчего ты не переменишь прически? Ведь этих пирожков на макушке теперь никто уже не носит. И нос у тебя блестит. А на это — пудра существует. Ну, прощай, будь умницей!

Он вышел. В сущности, ничего обидного он ей не сказал. «Будь умницей»... Но ведь это шутка. А относительно «пирожков» — он прав.

Анна Ивановна посмотрелась в зеркало. Ну, да, прав: прическа несовременная, и нос блестит. Но тут она представила себя с белым от пудры носом и с прической en queue de cheval, — покачав головой, добродушно засмеялась.

— Не прикажешь ли еще мужские штаны надеть? — спросила она в другой раз, когда Léon опять настаивал на пудре.

Léon критически посмотрел на расползшуюся фигуру матери.

— На тебя и штанов не найдется, — сказал, засмеявшись. — Надо, mamette, несколько кило спустить. А в моде этой я ничего плохого не нахожу. К Алине, например, панталоны очень идут.

— Это ты мадемуазель Жиру уже по имени зовешь?

— Я не про мадемуазель, а про мадам.

— Мадам Жиру носит мужские штаны?!

— Они обе носят. Ах, mamette моя, когда же ты научишься быть современной?

В один из последних дней перед Рождеством, Анна Ивановна долго ждала Léon к ужину. Наконец, он явился.

— Я в большом embarras, mamette, — сказал озабоченно. — Дело в том, что Жиру пригласили меня на petite soirée. Но у меня нет tenue.

— Чего у тебя нет?

— Tenue, ты же знаешь: костюма.

— А в этом разве нельзя?

— Sans blague, mamette: моя карьера у Жиру была бы кончена. Впрочем, ne t'en fais pas, я устроюсь. Займу у Рожэ.

— Что значит «не входи в долги»? — сразу отбросил он ее прописной совет. — Рожэ племянник Алины, мы с ним приятели.

— Что же, весело было? — спросила она, когда Léon вернулся с «petite soirée».

— Шикарно было. Ужин — замечательный. Я никогда такого не ел. Омары были, отличное вино...

— А барышня?

— Барышня? — мечтая об омарах, рассеянно переспросил Léon. — Барышня — ничего. Представь: шеф бюро не был приглашен. Он не дает патрону полной сатисфакции. Это очень интересно для меня, ты понимаешь?

— Нет, не понимаю, — откровенно призналась Анна Ивановна. — Да ты постой, при чем тут какой-то шеф бюро? Ты расскажи, в чем барышня была одета.

— Ивон? Кажется, — в розовом.

— Интересная была? Ведь она брюнетка? К брюнеткам розовое идет.

— Ничего, идет. Да, волосы у них у обеих черные. Ну, покойной ночи, mamette.

Он мне глаза отводит, — соображала потом Анна Ивановна: — Про какого-то шефа бюро рассказывает, делает вид, что Ивон его не интересует. А сам только о ней, небось, и думает.

Léon стал часто бывать у патрона. Но, возвращаясь оттуда, рассказывал не о хозяйской дочери, а либо о том, как предупредительна к нему их прислуга, и что это означает; либо о шефе бюро, который все время под него подкапывается.

— Надо понимать жизнь, mamette. Вот ты говоришь: «чувство товарищества». А если бы я стал делать из него usage, меня бы за дурака взяли.

На этот раз Анна Ивановна ничего даже не возразила: как с галлицизмами, так и с психологией его, — ей оставалось только мириться.

Léon заказал себе еще костюм: покупать готовое платье «при своем новом положении» — считал невозможным. Галстуки и белье он носил теперь самые дорогие и модные. Когда Анна Ивановна недоумевая спрашивала, откуда он деньги берет, он отвечал, что к Новому Году получил наградные, и что хозяин с первого января значительно прибавил ему жалования...

— Вообще, не беспокойся, mamette: ты видишь, — я débrouillard.

Отправляясь к Жиру, он долго смотрелся в зеркало и при помощи всевозможных инструментиков, которыми тоже успел обзавестись, отделывал себе ногти. Тут Анна Ивановна заметила в его манжетах новые золотые запонки.

— Жиру подарили, — объяснил он неохотно.

— На тебя там, как на жениха смотрят, — сказала Анна Ивановна. — Тебе необходимо серьезно разобраться в твоих чувствах к этой девушке.

Léon, рассмеявшись, поцеловал мать в голову.

— Ah, c'qu'elle est naïve cette chère mamette! Да, я забыл тебе сказать, Алина добилась таки своего: Лариа, шефа бюро, патрон выгоняет.

— Не надо радоваться чужому несчастью, — сказала Анна Ивановна.

Но, по сравнению с его сангвиническим злорадством, добродетельная сентенция вышла совсем худосочной.

— И еще... — подумав продолжала Анна Ивановна, — я давно хотела тебе сказать.. зачем ты называешь мадам Жиру «Алиной»? Положим, мы одни, никто не слышит. А все-таки — это неуважение. Я не сержусь на тебя за «mamette», но чужую даму, которая тебе в матери годится...

— Не все ли равно, как называть? — пробормотал, уходя, Léon. — И с чего ты взяла, что она мне в матери годится?

Не прошло и месяца после Праздников, как веселое оживление Léon внезапно, со дня на день, сменилось мрачностью. С матерью он почти не говорил, когда она спрашивала, что с ним, — раздражался. Анна Ивановна ужасно встревожилась. «Не сделал ли предложения? Не отказали ли?»

Léon несколько дней не ходил в бюро. Наконец, она приступила к нему осторожно, но настойчиво:

— Почему не сказать матери? вместе бы обсудили.

— Долго рассказывать, mamette, — сказал он, морщась. — Ну, просто маленькая неприятность на службе. Завтра все должно выясниться.

На другой день Анна Ивановна, чтобы поскорее узнать, ушла с работы на час раньше. Торопилась домой ужасно, а тут еще на ужин разные вещи купить нужно. Покупая, думала: с легким ли сердцем будет Лева все это есть? А, вдруг, она придет, — а он скажет: «Меня со службы прогнали».

Отперев дверь квартиры, она услышала из комнаты сына французский разговор. Узнала голос Рожэ, племянника мадам Жиру, который к Léon иногда заходил. Не снимая пальто, с покупками в руках, остановилась в передней и стала слушать. Сердце страшно билось.

— Глупо, что из-за этого чека он поднял такую историю, — говорил Рожэ.

— Так они помирились? — перебил Léon.

Рожэ захихикал:

Ma tante умеет с ним разговаривать. — «А твоя секретарша?» — она ему сказала. Лично против тебя mon oncle ничего не имеет. Для него даже лучше, чтобы это был ты: Лариа ему гораздо дороже обходился. Потом, ты твоих отношений к ней не афишируешь, а это грубое животное только и делал, что задевал его самолюбие.

Анна Ивановна продолжала стоять в передней. Ее — точно громом пришибло. Отказывалась верить, — и сознавала, что не верить нет возможности.

За дверью послышался шум отодвигаемого стула.

— Ты уходишь? — спросил Léon.

Анна Ивановна проскользнула в кухню, быстро затворила за собою дверь и, не зажигая электричества, опустилась там на табурет. Покупки продолжала держать на коленях. В голове — пустота, в сердце — тоже. Только приступ тошноты. Или это рыдание к горлу поднималось?

Голоса послышались явственнее: Léon и Рожэ вышли в переднюю.

— Bonsoir, bien de bonnes choses pour ta mère! — сказал Рожэ.

Дверь за ним захлопнулась. Léon, все еще в передней, начал напевать шансонетку. Из кухни Анна Ивановна не могла его видеть, но она знала, что он стоит теперь перед зеркалом, откинувшись назад, раскачиваясь и делая жесты кабаретного певца. Она не двигалась с места: вся оцепенела от ужаса.

Léon продолжал напевать. Один из пакетов выскользнул из сумки и упал.

Ты здесь, mamette? — произнес Léon с удивлением. — Как это я не слышал! Ты сегодня раньше? Да, mamette, все отлично обошлось: патрон сам послал ко мне Рожэ. C'est chic, mamette, hein?

Он вдруг заметил, что слова его падают в какую-то странную пустоту. Прислушался: за дверью — ни звука. Встревоженный, он быстро ее отворил.

— Что ты тут в темноте делаешь? — Он повернул выключатель.

Мать сидела среди кухни на табурете, в пальто, с покупками на коленях. На полу валялся упавший пакет. Она не подняла на Léon опущенных глаз. Ни один мускул ее бледного лица не дрогнул.

— Mamette, что с тобою? — спросил он в испуге.

— Лева, — прошептала она с усилием, — неужели...?

— Ты слышала наш разговор? — немного смутясь, произнес Léon.

Она не ответила.

— Ты сердишься, mamette? Но ведь здесь ничего особенного, что я взял этот чек. Отчего же я не мог принять от нее подарка? — Он помолчал. Изо всех сил старался вернуть себе апломб.

— В конце концов, — не я один, все так. Патрон с самого начала знал. Он ничего не имел против.

По-прежнему не решаясь к ней подойти, Léon помолчал.

— Не надо брать это так трагично, — начал гораздо тише. — Слышишь, mamette? Не надо.

Анна Ивановна, внезапно, порывисто вскочила с табурета. Сумка упала на пол. Она кинулась к сыну, обхватила его руками, изо всех сил к нему прижалась.

— Лева, бедный мой мальчик! Боже мой, Лева, что я с тобою сделала!

Лева крепко обнял мать. Он очень на себя досадовал: зная ее отношение к таким вещам, нужно было быть осторожнее. Но теперь уже не поправишь.

— Успокойся, mamette, — сказал он ласково, как огорченного ребенка гладя ее по голове. — При чем ты тут? В чем ты себя винишь? Ты не виновна. Никто не виноват. Просто — теперь другие понятия, чем в твое время были. Тебе тяжело, но тут уж ничего не поделаешь: c'est la vie, mamette, c'est la vie!

между прочим

В детстве у Стрежнева была складная картина. Очень больших размеров, очень сложная. Теперь он не помнил, видел ли ее составленною, и что она изображала. В памяти сохранилась груда разрозненных частей, нарочно, каким-то злодеем, выпиленных по прихотливо-извилистым линиям. Было их, наверно, не меньше сотни. Множество сплошь голубых — он называл их «небесными», — без единой земной детали. Складывать «небесные» он отказывался, трудился над «земными». На одной была ампутированная выше колена нога в сапоге со шпорой; на другой — обезглавленный пляшущий человек в пестром костюме; на третьей — задняя половина белой собаки и, над нею, зажатая в чьем-то кулаке палка.

Тогда, мальчиком, втискивая выступы одной части в углубления другой, а потом замечая, что отрезанную ногу к острой верхушке колокольни прилаживает, Стрежнев испытывал страшную досаду.

Теперь, когда ему далеко за пятьдесят, жизнь представляется похожей на эту не могущую быть сложенной картину. Какая неразбериха! С начала до конца — все нелепо. Зачем вывезли его из России? К чему, ненавидя войну, пошел он добровольцем? В молодости мечтал стать ученым-историком, а вот теперь, под старость, в частной торговой конторе служить приходится. И уж верх нелепости это то, что он холостым остался, тогда как даже с чужими детьми ужасно любил возиться, и был бы, наверно, отличным отцом.

Но главная беда все же не в этом. Всегда занятый общими вопросами, он своей личной неудачи долгое время даже

не замечал. Тогда, до войны, думать о себе было некогда. Кончив вечером постылую работу, он спешил на какое-нибудь собрание, на доклад, или к кому-нибудь из знакомых. Сколько интересного говорилось тогда и писалось. Каких замечательных людей, носителей нашей высокой культуры, случалось встречать, с иными — близко сходиться. У эмигрантской элиты, в те счастливые годы, была между собою живая связь, общие интересы. А главное — общая большая надежда: «Русская культура жива. Совместно с теми из нас, кто остался на родине, мы должны и будем для нее работать».

Надежда обманула. Теперь это совершенно ясно. Вот прочел он недавно одну нашумевшую *там*, а отчасти и *здесь*, книгу. Ни единой оригинальной мысли, ничего нового или значительного он в ней не нашел. Появись подобная книга полвека назад, — она осталась бы незамеченною. Газеты, журналы советские — невозможно читать, унылая, скуку наводящая казенщина.

Ну, а здесь, у нас, лучше, что ли? — спрашивал он себя. — Чем мы живем? Каким идеалам служим? (Самое это слово для людей «современных» звучит уж старомодно и смешно). «Белая мечта», «непримиримость» — все еще чтимые выцветшие знамена. Патриотические восторги перед достижениями тамошней техники — либо фальшивы, либо узостью кругозора объясняются. А молодежь — бедная наша молодежь — принуждена нести свой мед в чужой улей. Живой, творческой русской культуры — единственной, похожей на чудо, какою она когда-то была — больше нет ни здесь, ни там. Лучшим людям (опять таки — здесь и там) ничего не остается, как заботиться о сохранении ее высохшей мумии.

Все, что он делал и что делали окружающие, казалось Стрежневу лишенным всякого смысла. Удивляло только, как другие не замечали. А, может быть, они и замечают, да не умеют, или не решаются сказать: говорить в доме повешанного о веревке — почему-то не принято. Да и когда сказать? На всякий вздор, на дрянные сплетни, на пересуды — времени сколько угодно, а на единственно нужное — нету. Если,

например, собираясь поговорить об этом «единственно нужном», он шел к приятелю, то заставал его обыкновенно в передней, надевающим пальто.

— Вы уходите?

— Ничего... Заходите. Я еще успею.

— Нет, зачем же!.. Не хочу вас задерживать... Как-нибудь в другой раз.

Вместе выходят на улицу.

— Вы на метро? — спрашивает приятель.

— На метро. А вы?

— И я на метро.

В подземных корридорах нельзя говорить: толкотня. В вагоне такой шум, что ни слова не разберешь. Стрежнев все же пытается начать необходимый ему разговор.

— Виноват? — подставляет ухо приятель. — Да, понимаю. Как вы говорите? Аха! разумеется трагично. Постойте, не слышу... Ужасный шум! Вы говорите «наша культура»... Ах, Боже мой, мне выходить!

Распихивая стоящих в проходе, приятель бросается к двери.

— Так когда же увидимся? — кричит ему вслед Стрежнев.

— Позвоните ко мне на службу.

— Погодите, я номера не знаю...

Но тот уже на платформе, поезд тронулся, дверь между ними неудержимо задвинулась. Приятель делает какие-то знаки. А Стержневу кажется, что, выскочи он за ним, они тут же, на станции Монпарнас, поговорили бы как следует и что-нибудь очень важное придумали.

А то, сидит он целый вечер в ненужной ему компании. Говорят о министерском кризисе. Что один ни скажи, — другой уже знает: прочел в той же газете. Политические анекдоты истрепаны, от них не смеяться хочется, а нудно, как от зубной боли, скулить. Стрежнев все собирается начать о своем. Ведь все присутствующие, хотя и бессознательно, этим же, наверно, мучаются. Он долго колеблется, наконец,

не совсем кстати, вставляет что-то нелестное о послевоенной зарубежной литературе.

— Я не понимаю, где вы увидели упадок? — авторитетно перебивает его независимого вида дама, изящно стряхивая с папироски пепел. — Как раз за последние годы у нас появилось несколько молодых писателей...

— Ну, — ничего выдающегося! — возражает другая дама, тоже с апломбом, но без папироски. — Эмиграция обречена на вымирание, об этом и говорить нечего. Но вы посмотрите, что делается *там*. В последнем номере «Огонька», например, есть рассказ про колхозницу. Замечательно сделан! Уверяю вас, — ничуть не хуже Чехова.

Дама с папироской, возмущенная «про-советскими» взглядами собеседницы, бросает разговор с нею, вмешивается в общий:

— Вы про историю с Медведевым? Но ведь давно известно, что он — крипто-большевик.

— Бросьте! Какой он там крипто-большевик! — паририрует дама без папироски.

— Извините, но он бывал на приемах советского посольства.

— Ну, так что ж? Лучше ходить в советское посольство, чем, как иные, с оккупантами знаться.

— Это на мой счет?

— Если вы принимаете на себя, то, очевидно, имеете основания.

А общий разговор уже перескочил на скандальные дневники известного французского писателя. Дама с папироской опять оказывается в центре: прочла в последнем выпуске вечерней газеты небольшую статейку об этих дневниках.

Стрежнева дневники знаменитости, которые он читал с отвращением, интересуют так же мало, как и политическая физиономия неизвестного ему Медведева. Он сидит только потому, что уходить лень. Не хочется ни говорить, ни слушать. Меньше всего хочется ему начать разговор о том, что, как он теперь понял, никому здесь не нужно.

В двенадцатом часу целой компанией выходят на улицу. Независимая дама веско разбирает только что вышедшую философскую книгу иезуитского аббата. Старый литератор с понимающим видом даме поддакивает. Книги аббата ни тот, ни другая не читали. Легко было бы уличить их. Но у Стрежнева нет охоты.

Вот он опять в метро. Литератор поместился напротив. Старик подавлен превосходством независимой дамы и страдает. Его молчание кажется Стрежневу глубокомысленным: «Этот-то должен бы, кажется, понимать». Он обращается к нему с наводящим на свою тему вопросом. Литератор, погруженный в самолюбивые терзания, думает, что Стрежнев продолжает о книге аббата.

— Да, да, очень глубоко, — произносит он поспешно, — очень!

— Что глубоко? — с удивлением переспрашивает Стрежнев.

— Виноват, моя пересадка! — спохватывается литератор.

Опять: «Кланяйтесь вашим», «созвонимся», «очень буду рад»... И опять задвинулась дверь.

Такая апатия и безнадежность на Стрежнева, наконец, напала, что, взяв в середине лета трехнедельный отпуск, он из постылого Парижа никуда не уехал. Был очень рад, что другие почти все уехали.

Жил он в это время в неказистом отельчике одного из бедных кварталов, где много русских. Тут же, в двух шагах от отельчика, была и русская церковь.

В церковь Стрежнев всегда ходил регулярно. «Привычка!» — сам себе говорил. — «Больше о верности родному фольклору, чем о верности Богу свидетельствует».

Точно так же, как в детстве, не хотел он, бывало, складывать голубые («небесные») части своей картины, не хотел он теперь думать о Боге, о загробной жизни. Чисто мозговые

построения на эти темы казались ему бесплодными. Тут нужно было что-то другое. Этого другого он в себе не находил.

А церковную службу знал хорошо, и глубоко чувствовал. Иные, особенно великопостные, песнопения чрезвычайно сильно на него действовали. «Чертог Твой» или «Разбойника» из года в год слушал с тем же волнением. Но даже в церкви, даже во время любимых богослужений Страстной недели, не чувствовал он никакой внутренней связи с окружающими. Они ему скорее мешали. Всегда казалось, что пришли они сюда за чем-то другим, чем он. Разбирал их психологию, критиковал. Глядя на стоявшую перед иконой Богородицы даму, думал: «Кто ее знает? Может, она и искренна. Только, к выражению безграничного упования, с которым она смотрит на образ, — слишком уж не идет ее смешная модная шляпка». Или осанистый бритый старик с отвислой губой его занимал. «Зачем это он так преувеличенно-медленно поднимает сложенные щепоткой персты ко лбу и, подняв, долго их к нему прижимает? Бывший губернатор какой-нибудь захолустной губернии. До сих пор, небось, убежден, что Россию крамольники и жидо-кадеты погубили».

Летом появилась в церкви девочка лет одиннадцати. Она приходила поздно, когда и «Иже Херувимы» уже отпоют. Становилась впереди, перед образом Спасителя. Тоненькая, длинноногая, одетая в слишком короткое голубое шелковое платьице. Большой палевый бант стягивал на макушке часть ее невьющихся темных волос: они торчали вверх смешным султанчиком. Остальные волосы, на лбу подстриженные челкой, падали на уши и затылок короткими густыми прядями. Ни минуты не стояла она неподвижно: то примется часто креститься, то на колени станет, земной поклон положит. Службы, видимо, не знала, делала все невпопад. Потом, закрыв ладошкой рот, зевнет, оглянется назад. Личико у нее было неправильное, но очень подвижное и выразительное.

«Почему она всегда одна?» думал Стражнев. — «Сирота, должно быть. Заметно, что никто о ней не заботится. Бледная какая, худенькая.. Питается, небось, кое-как... Вот же-

нись я в свое время... На ком — это не имеет большого значения. Киса с радостью бы за меня пошла. Что ж? вполне порядочная была девушка. А я разбирал: «неразвита», «ничем не интересуется». Были и другие. Та — «кокетка», эта — «глупо воспитана». А женился бы просто, как другие женятся, и была бы у меня теперь, может быть, вот такая девочка. Знал бы по крайней мере для чего работаю. Вечерами помогал бы ей решать задачи, летом на море возил бы...»

Он спросил про нее у церковного старосты. Тот сказал, что семья ее, кажется, Ди-Пи. Придя первый раз в церковь, она сказала: «Я хочу говеть, но не знаю, как это делается». А во время исповеди, на вопрос священника об имени, ответила, что ее зовут Лилечкой.

Потом начал Стрежнев встречать ее на улице. Всегда в том же голубом коротком полинялом платьице, с палевым бантом на макушке. В руках длинный хлеб или бутылка вина. Раз он встретил ее на лестнице своего отельчика. Она осторожно несла плохо вычищенную кастрюльку с молоком.

— Вы разве здесь живете? — вырвалось у него.

Она молча кивнула головой. Поднявшись выше по лестнице, остановилась поглядеть. Увидев, что и он смотрит, поскорее отвернулась.

Консьержка сказала ему то же, что и староста. Отец ее Ди-Пи. В отель только третьего дня переехали:

— Вы, верно, его видали. — И, чтобы напомнить, прибавила: — Это тот, у которого такие прекрасные зубы.

Стрежнев вспомнил, — высокий, с неприятным фатовством одетый мужчина средних лет. Главное, действительно, зубы. Проходя мимо ложи консьержки, он не улыбался, а внезапно оскаливался. И тогда на несколько секунд показывал их все, чуть ли не до последнего коренного. И все они были у него, как один: белые, ровные, без малейшего изъяна. Даже неприятное что-то находил Стрежнев в этих слишком белых крупных зубах. Да и сам обладатель их казался ему очень противен: все у него — костюм, ботинки, галстук —

было с иголочки новое. Кроме лица: лицо было сильно поношенное.

Две занимаемые ими комнаты находились в одном с ним коридоре, но Стрежнев с отцом девочки знакомиться не хотел, даже не кланялся, встречаясь.

Около их отельчика был небольшой сквер. Там, летом, женщины, сидя на скамейках, быстро шевелили вязальными спицами, а дети лопаточками сгребали в ведерки сорный песок.

Взяв отпуск и оставшись в Париже, Стрежнев тоже стал ходить в скверик читать газету. Однажды он увидел там свою русскую девочку. Она прыгала через веревочку. Прыгала на французский манер: не бегая, а все время на одном месте. Поставленные рядом длинные голые ножки упруго отталкивались, голые худые ручки ловко вращали веревку. А лицо оставалось безучастным к тому, что проделывали руки и ноги.

Стрежнев сел на ближайшую скамейку. Заметив его взгляд, девочка прекратила свое странное занятие, не доставлявшее ей, повидимому, никакого удовольствия. Пройдясь раза два взад и вперед по дорожке, она вдруг, с небрежным видом, бросилась на противоположный конец скамейки.

— Вас, кажется, Лилечкой зовут? — видя, что ей хочется познакомиться, спросил Стрежнев.

Она, как и при первом его к ней обращении, молча кивнула головой. Не глядя на него, начала шаркать сандалиями по песку.

— Вы часто в церковь ходите, это хорошо, — похвалил он. — А папа ваш чем занимается? Служит?

Лилечка капризной гримаской выставила вперед нижнюю губу:

— Он мне, между прочим, вовсе не папа. Это я с ним только пока. Он просто дядя Марк, мамин муж.

— Папа ваш, стало быть, умер? — попробовал Стрежнев уяснить себе ее семейное положение.

— Вовсе не умер. Папа в Брюсселе. И я к нему в Брюссель поеду. Он меня возьмет, как только... можно будет.

— Мама тоже в Брюсселе?

— Мама ?— сгребая ногами кучку песка, Лилечка немного подумала. — Нет, мама в Ницце. Она туда поехала потому, что ее муж собирается записаться в монахи.

Стрежиев рссмеялся:

— Как это «записаться в монахи»?

Она пожала плечиком:

— Просто.

— Ваш папа постригается?

Лилечка посмотрела на него не то обиженно, не то с пренебрежением:

— Какой вы непонятный. Кажется, я вам русским языком говорю, — с наслаждением произнеса она фразу, которую самой, вероятно, часто приходилось выслушивать: — Ведь я это не про па-апу, а про маминого мужа.

— Вот чудачка! Ваш папа и есть муж вашей мамы.

— Вовсе нет! Папа — прежний муж. А это — теперешний.

Она сдернула с головы бант, так что собранные в кисточку волосы рассыпались во все стороны. Тряхнув головой, закусила узел зубами, стараясь его развязать; развязав, принялась разглаживать на коленях ленту. Наконец, собрала верхнюю часть волос над головою султанчиком, крепко затянула, завязала бант, и встала.

— Надо идти дяде Марку вино купить. Я вам скажу, — но это между прочим, — он очень нехорошо ругается, если я забуду.

Она протянула ему руку. Стрежнев задержал и показал ей ее пальчики.

— А ногти, — это я вам тоже между прочим скажу, — надо чистить.

Лилечка выдернула руку:

— Я на той неделе чистила, — бросила в свое оправдание. Не оглядываясь, побежала к железной калитке.

Стрежнев остался на скамейке. С грустным чувством смотрел ей вслед. Долго потом о ней думал.

Этой странной девочке тоже не удавалось пригнать, один к другому, хитро выпиленные кусочки ее жизни. Тут же он сказал себе, что для нее, может быть, и лучше, чтобы картина осталась несложенною.

Поговорить с Лилечкой толком Стрежневу долго не удавалось. Он виделся с нею каждый день, то в лавке, то на улице, но всегда мельком. Иной раз она на ходу сообщала ему какую-нибудь новость. Почти всегда неожиданную. Например, что дядя Марк купил в отель Друо за 5.000 франков огромную хрустальную люстру. Или, что какой-то просыпавшийся на башо Эженчик, стрелял в себя из револьвера, но не попал.

Стрежнев не спрашивал ее ни кто такой этот Эженчик, который так дурно целится, ни для чего дяде Марку хрустальная люстра; после первого же разговора с нею в скверике, размышляя о ней, он навсегда решил, что вмешиваться в путанную лилечкину жизнь нужно с большой осторожностью. А, между тем, хотелось все о ней знать, хотелось так или иначе к Лилечке подойти, помочь. В чем помочь? Лилечка совсем не производила впечатления несчастного ребенка. Она была очень самостоятельна и к странным условиям своей жизни без особого труда приспособлялась. Несмотря на это, она возбуждала в Стрежневе жалость. «Что бы ей приятное сделать?» — думал он. «Подарить что-нибудь? Но что? Игрушку, — еще обидится, пожалуй: она ведь себя чуть ли не взрослой считает».

Наконец, решил пригласить ее к себе чай пить. Очень хлопотал об угощении: купил пирожное, хороших конфет; убрал свой всегда заваленный стол, накрыл чистой бумагой. Приготовления доставляли ему огромное удовольствие. «Точно в куклы играю», — сам над собою подсмеивался.

После обеда дядя Марк никогда не бывал дома. А Лилечка либо в скверик шла, либо сидела у себя в комнате и скучала.

Все приготовив, Стрежнев, заранее радуясь действию своего сюрприза, подошел к ее двери и легонько постучал. Когда она вышла, заговорческим тоном, понизив голос, спросил:

— Вашего дяди ведь дома нет? Он не скоро вернется?

Лилечка насторожилась:

— А что?

— Пойдемте ко мне чай пить. Я специально для вас отличное пирожное купил и таких конфет, что вы пальчики оближете! Идем!

Он потянул ее за рукав.

— Ах! — подаваясь назад, вскрикнула Лилечка, и руками от возмущения всплеснула. — Ах, какой стыд! Как вы смеете говорить такие вещи!

— Какие вещи? — произнес ошеломленный Стрежнев.

— Да я... да я с вами и знаться после этого не хочу! — Она бросилась в свою комнату и быстро повернула ключ.

— Лилечка, что с вами сделалось? За что вы рассердились? — спрашивал расстроенный и ничего не понимавший Стрежнев. Из комнаты не доносилось ни малейшего звука.

Несколько дней Лилечка при встрече от него отворачивалась. Стрежнев, продолжая недоумевать и огорчаться, не делал никаких попыток к примирению: ведь не он ее обидел, а она — его. Он даже нарочно принимал такой вид, будто совершенно ее не замечает. Лилечку его тактика встревожила. Раз, во время всенощной, он подсмотрел такой глубоко-несчастный взгляд, что у него сердце сжалось.

На обратном пути он увидел ее впереди себя. Шла нарочно очень медленно. Поровнявшись с нею, он, неожиданно для себя, спросил:

— Лилечка, за что вы на меня дуетесь?

— Я не дуюсь, — ответила она, смущенно оправдываясь. — Я на вас совсем не дуюсь. А только... Это дядя Марк виноват: он мне про вас наговорил.

— Что-же он мог вам про меня «иаговорить»? — удивился Стрежиев.

— «Что»! Не трудно, кажется, догадаться. — Лилечка сердито фыркнула. — Вы тоже, между прочим, виноваты: для чего вы мне про эти мерзкие конфеты тогда сказали?

— Что я вам сказал про конфеты? И почему они «мерзкие»?

— Вы меня, пожалуйста, за дуру ие принимайте! — окончательно рассердилась Лилечка. — Всем ведь известно, что мужчины девочек конфетами к себе в комнаты заманивают.

Стрежнев от возмущения остановился среди тротуара.

— Вы, Лилечка, болтаете о вещах, которых не понимаете!

— Отлично понимаю!

— Тем хуже для вас! Что же, стало быть, по вашему, я вас «заманивал»?

Лилечка стояла перед ним, виновато потупившись.

— Вы не заманивали... — начала она мягко и примирительно. — Конечно, не заманивали. Только зачем вы про конфеты сказали? Вы сказали, а я и вспомнила. — Видя, как сильно он огорчен, совсем уже ласково прибавил: — А я не дуюсь. Мне самой жалко... Я к вам, между прочим, прийду. Только, чтобы дядя Марк не узнал.

Они молча пошли дальше.

— Нехороший он, должно быть, человек, этот ваш дядя Марк, — в грустной задумчивости сказал Стрежнев.

— Конечно, — дрянь! — убежденно подтвердила Лилечка.

Свое обещание она на другой же день исполнила: сама постучала к нему в дверь, церемонно, как настоящая гостья, поздоровалась, повертела в руках киигу, которую он читал, посмотрела висевшие на стенах фотографии. Живо спросила:

— Это вы? — И, вглядевшись в карточку, с сожалением прибавила: — Какой вы тут молодо-ой!

Скоро, впрочем, перестала конфузиться и даже купленные для нее «мерзкие конфеты» с удовольствием начала кушать. Потом вдруг спросила:

— Значит, вы дядю Марка не любите?

— За что же мне его любить?

— Ни за что. Так. Всех надо любить, — принимая степенный вид, сказала она наставительно. — Гадких надо любить особенно. Про это в Евангелии напечатано. Если я не начну любить дядю Марка, — это отец Николай мне сказал, — так меня Бог накажет.

Накручивая на палец край своего платьица, она довольно долго молчала. Потом испытующе посмотрела на Стрежнева:

— Ведь это неправда? — Тоном подчеркнула важность вопроса.

— Что «неправда»?

Она не ответила.

— Ну, и пусть наказывает! — сказала, наконец, с сердитым упорством.

Дня после этого не проходило, чтобы Стрежнев подолгу не разговаривал с Лилечкой. Дружба их доставляла обоим много радости. Лилечка сообщала ему все, что ее занимало или мучило. А он, серьезно, как взрослой, излагал ей свои взгляды на жизнь, совершенно уверенный, что она все способна понять.

— Знаете, какая история, — сказала она конфиденциальным тоном, встретив его раз в коридоре, — дядя Марк к своей американке переезжает.

К этому времени Стрежнев к неожиданностям лилечкиной жизни уже привык.

— Ну, так что же? — сказал он. — Скатерью дорога! Ведь у вас своя комната.

— Он меня тут не оставит. «У меня», — он говорит, — «больше денег нет за тебя платить. Так что вытряхайтесь,

куда хотите, мадемуазель». Придется к алексеевской няне пойти.

— К какой «алексеевской няне»?

— Разве вы ее не знаете? Странно. Алексеевскую няню все знают. Она перед Преподобным становится.

— Но, если она в нянях живет, то у нее, пожалуй, и комнаты своей нет.

— Конечно, нет. Теперь редко у кого своя комната, — убежденно заметила Лилечка. — Няня, между прочим, в ванне ночует.

— Как это «в ванне»?

— Просто. И я с ней буду. В ванной комнате, на полу. Ведь не надолго: американка дядю Марка скоро прогонит. Она его уже раз прогнала.

Несколько дней Стрежнев с Лилечкой не встречался. В воскресенье он видел ее мельком, после обедни, разговаривавшую с какой-то старушкой. Решил, что это и есть знаменитая алексеевская няня, которая «перед Преподобным становится», а ночует в ванне.

Потом Лилечка опять к нему забежала.

— Я на минуту. Иду к няне, сказать, что жить у нее не буду: мама приезжает.

— Вы рады?

— Скандалы опять пойдут, вот я чего боюсь: мама с дядей Колей приезжает.

— Это тот, что «в монахи записывается»? — подтрунил Стрежнев.

— Он раздумал, — сохраняя озабоченность, сказала Лилечка. — Он институт красоты открыть собирается. А дядя Марк говорит, что деньги для института красоты дядя Коля украл, и что он на него в полицию пожалуется. Дядя Марк, между прочим, хочет, чтобы мама опять с ним жила.

— Да ведь дядя Марк к американке переезжает, — напомнил Стрежнев.

— Он то хоте-ел бы! — протянула она с хитрой миной, — да американка не хочет: у нее теперь француз жиголо.

— А вы знаете, Лилечка, что значит «жиголо»?

— Это его фамилия, — пояснила она простодушно.

— Не советую вам повторять все, что говорит ваш дядюшка.

— Я ведь, между прочим, чего боюсь... — не обратив никакого внимания на его совет, продолжала Лилечка. — Вы как думаете, пожалуется дядя Марк в полицию?

— Донесет ли? С него станется.

В этой истории, происходившей между незнакомыми ему людьми, как и во всем относившемся к Лилечке, Стрежнев принимал самое горячее участие. Симпатии его были теперь почему-то на стороне дяди Коли.

— Но ведь дядя Коля чужих денег не брал? — спросил он, в полной надежде, что невиновность дяди Коли будет ею подтверждена.

— Нет, бра-ал! — убежденно, даже с азартом протянула Лилечка. — В том-то и дело что — брал! Он, между прочим, уже раз сидел. Мне дядю Колю не жаль: пусть еще посидит. Только я боюсь, как бы и маму с ним не посадили.

— Вы, стало быть, не хотите, чтобы мама оставалась с дядей Колей?

— Совсем не хочу! Дядя Коля тоже ужасная дрянь: он мамины деньги проиграл. Мама велела ему на «Фаворита» поставить, а он поставил на какую-то клячу. Мама тогда, между прочим, чуть не отравилась.

— А папа ваш что же? — спросил Стрежнев, возлагая свои последние упования на этого «папу».

Лилечка отвернула головку:

— Папа в Брюсселе в сумасшедшем доме сидит.

— Лилечка, где ты опять? — послышался из коридора сочный голос дядя Марка. — Какое наказание с этой девчонкой!

Лилечка побледнела.

— Чего же вы так испугались? Пойдемте вместе: я с ним поговорю, — предложил Стрежнев.

В страшном испуге она вцепилась в него, стараясь оттащить от двери:

— Этого нельзя, нельзя! Он сюда не посмеет войти, — шептала она, в то же время прислушиваясь. — Он к консьержке пошел спрашивать. Я скажу, что в уборной была.

Она выскочила в коридор.

— Вот ты где торчишь, мерзкая девчонка! — услышал Стрежнев негодующий голос дяди Марка. — Запирать тебя, что ли, чтобы не шлялась?

— Оставьте, оставьте меня, — кричала Лилечка.

Тот, очевидно, тащил ее в комнату.

— Прекратите эту дикую сцену, или я полицию позову! — не сдержавшись, крикнул Стрежнев.

Он вышел в коридор и видел, как дверь в комнату дяди Марка поспешно за ним захлопнулась. Лилечка знаками умоляла его не вмешиваться.

Последствий это столкновение не имело: встречаясь с дядей Марком, Стрежнев смотрел на него с вызовом, но тот на его взгляд не отвечал.

Скоро потом появилась в отеле ярко одетая дама с цветущими губами и поблекшими веками. Ногти у нее были под цвет губам. Она всегда казалась возбужденной и крайне несчастной.

— Мама одна приехала, — сообщила Лилечка Стрежневу. — Про дядю Колю — молчит: переругались, видно. Дядя Марк рад. А я не рада, потому что он рад.

В тот же день маминого приезда, вечером, Стрежнев, опять мельком увидав Лилечку, заметил, что глаза у нее заплаканы.

В субботу, в церкви во время всенощной, она подошла к нему и шепнула:

— Мне нужно сказать вам одну очень плохую вещь. До конца я не останусь. Выйдемте на минуту.

— Только вы на меня, пожалуйста, не рассердитесь, — сказала она, когда вышли на улицу. — И на маму не сердитесь, она не виновата.

— В чем дело, Лилечка?

— Мама не виновата, — боясь расплакаться, продолжала она скороговоркой. — Виноват опять мерзкий дядя Марк. Он сказал маме: «Эта испорченная девчонка с мужчинами уличные знакомства заводит. Я накрыл ее в комнате ее ами».

— Какая низость! — возмутился Стрежнев. — Я сейчас же иду к вашей маме объясняться.

— Нет, нет! — испуганно перебила Лилечка. — Это невозможно! Господи, это такая ужасная история выйдет! Пожалейте хоть вы меня немножко!

— Хорошо, хорошо, как хотите! — спешил успокоить ее Стрежнев. — Я вас, Лилечка, очень жалею.

— Мама на образ заставила меня поклясться, — продолжала она с усилием, — что я с вами... Что вы меня... не трогали.

— Ах, замолчите, ради Бога! — в отчаянии перебил ее Стрежнев. — Что же дальше? Дальше-то что? Неужели вам так и оставаться с этими сумасшедшими?

— Мама меня с собою увозит. Она... запретила мне с вами кланяться. Не сердитесь! Что же мне делать?

Закрыв лицо руками она беззвучно заплакала. — Не будете сердиться? — не открывая лица, спросила чуть слышно.

— За что же мне на вас-то сердиться, детка моя бедная?

Стрежнев взял ее мокрую от слез руку и осторожно погладил. Постояли молча.

— Я теперь домой пойду, — тихо сказала Лилечка. — А вы со мною не идите. И кланяться, значит, больше не будем. Хорошо?

Еще что-то ее мучило, но она колебалась.

— Вы главного не знаете, — начала, наконец. — Только этого, между прочим, никому нельзя говорить. Но вам я скажу, потому что очень боюсь. Это и есть самая плохая вещь...

Мама меня проклясть грозится. «Если будешь с ним продолжать». Это про вас. Я всю ночь не спала. Потому что проклятие матери — самое, самое страшное на свете. И его, она говорит, никто уже не может снять: ни священник, ни епископ, ни архиепископ...

— Успокойтесь, Лилечка, — перебил ее Стрежиев. — Не проклянет она вас! За что? Вы ничего не сделали. А если проклянет, — продолжал он охваченный внезапным порывом, — молитесь, чтобы Бог простил ей. Вот и все.

«Странно... Точно не мое ей говорю», — подумал.

Лилечка смотрела на него, серьезно соображая.

— Это правда, — согласилась она деловито: — раз ничего не сделала, — чего же бояться? У вас, между прочим, все всегда не так, как у других, а гораздо лучше. Ах, опоздала ужасно! Прощайте!

Она побежала, было, от него, но тотчас вернулась.

— А я все-таки буду вам кланяться, — сказала, задыхаясь от быстрого бега. — Немножко буду кланяться, — смешно моргнула глазами: — вот так. Чтобы вы один только и видели.

Стрежиев думал, что на этом его знакомство с Лилечкой прекратится. Он опять ходил на службу; было много работы; возвращался поздно. Как-то так складывалась, что он ее даже не встречал.

Но раз, ночью, когда он собирался уже лечь, послышался шум в коридоре, торопливые шаги, потом сильный стук в дверь. Он отворил.

Перед ним, одетая во что-то очень пестрое, стояла Лилечка. Голова ее была растрепана, лицо — отчаянное. То, что он принял за маскарадный костюм, оказалось пижамой и розовыми дамскими, отделанными белым пухом, ночными туфлями, слишком по ее ноге большими.

— Пожалуйста, ради Бога, — произнесла она между всхлипываниями, — идите скорее за доктором!

— Что случилось? Лилечка, вы больны? — вскрикнул он в тревоге.

— Мама отравилась! Идите скорее! Она умирает!

Стрежнев бросился вниз к телефону, разбудил консьержку, вызвал врача. Потом бегал в аптеку, стучал, выслушивал брань, сам бранился. Наконец, в другой уже аптеке, получил требуемое.

— Доктор говорит, что мама не умрет, — беря у него в корридоре лекарство, шептала Лилечка. — Она немножко отравилась, не совсем. Она, между прочим, всегда не очень сильно отравливается.

Все обошлось благополучно. Лилечку Стрежнев встретил на другой день значительно успокоенною.

— Мама, славу Богу, ничего. Она на икону поклялась, что больше не будет, — сказала, не останавливаясь.

Через неделю, тоже на бегу, она сообщила ему радостную новость: пришло письмо из Брюсселя, от папиного доктора. Папу он из сумасшедшего дома скоро выпустит, потому что папа «немножко поправился». А папа, как только его выпустят, сейчас же возьмет ее к себе.

Это была последняя встреча Стрежнева с Лилечкой. Ему даже не пришлось с нею проститься.

Когда, возвращаясь как-то вечером, он брал внизу свой ключ, консьержка объявила ему, что компания этих Ди-Пи из отеля выехала. Куда — она не знает. На что ей их адрес? Она так счастлива, что отделалась от беспокойных жильцов. Стрежнев спросил, как была прописана Лилечка. Консьержка, не пытаясь произнести трудную для нее иностранную фамилию, показала ему в своей книге: «Mademoiselle Elisabeth Ternigatos». Стрежнев, буква за буквой, списал себе это.

Итак — Лилечка уехала! Куда? С кем? Почему не оставила ему даже записки? Фамилия — ни на что не похожа, явно — переврана. А, может быть, отец ее — грек, или южноамериканец какой-нибудь? И почему он, Стрежнев, своевременно всего этого не узнал? Как-то бестолково — вот уж именно «между прочим» — прошло их знакомство. Ничего он для нее не сделал, ничем ей не помог. Впрочем, как и чем

мог он помочь? Помочь ни ей, ни кому другому нельзя: в груде разрозненных частей чужих и собственной своей жизни — лучше вообще не копаться.

В субботу он пошел ко всенощной. В первый раз без надежды встретить там Лилечку. Стоя на обычном месте, перед образом Спасителя, он вспомнил, как, незадолго до ее отъезда, они вместе шли вечером в церковь, и она спросила его, почему он никогда не ставит свечек.

— Нам, интеллигентам, это трудно, Лилечка: тут нужна сердечная простота, — ответил он, как всегда отвечал ей, с полной откровенностью и не считаясь с ее возрастом.

Она выслушала; едва ли как следует поняла. Подумав, сказала:

— А я раз поставила. У меня тогда деньги были. Замечательно помогло.

Он предложил, если дело за деньгами, дать ей.

— Дайте, — просто согласилась Лилечка.

Войдя в церковь, она купила свечку, подумала немножко, кому лучше поставить. Поставила Спасителю.

— Это я за вас, — шепнула, возвращаясь. — Вот увидите, что поможет.

«А что ж, может, и помогло», — вспоминая Лилечку, с доброй улыбкой думал теперь Стрежнев. — «Даже наверно — помогло. Ну, вот, и я за тебя, моя милая девочка, поставлю».

С непривычки конфузясь, но и радуясь чему-то, подошел он к свечному ящику.

Домой он вернулся довольный, каким с отъезда Лилечки не был. Сейчас же сел за стол и, в счастливом волнении, начал писать: «Дорогая моя девочка, до сих пор я думал, что помочь другому в его жизни — нельзя. Но я ошибался. Можно, можно помочь! Лилечка, скажите, неужели я Вам хоть чем-нибудь, хоть немножко, хоть чуточку не помог? А Вы (удивительно, что это произошло совершенно «между прочим») помогли мне в основном: Вы меня добрее и проще сделали.

Теперь мне легче будет жить. Может быть, и другим — со мною. Как Вы это устроили, — Бог Вас знает! Спасибо, Лилечка, до свиданья! Мы непременно, непременно еще встретимся. Ваш Стрежнев. Если получите это письмо, — сообщите мне все о себе подробно».

Он сложил лист; задумался. Потом схватил конверт и, радуясь пришедшей идее, написал адрес: Mademoiselle Elisabeth Ternigatos, aux bons soins de Monsieur le Médecin en Chef, maison d'aliénés. Bruxelles (Belgique).

Это письмо, посланное в тот же вечер, через несколько дней вернулось к отправителю, с равнодушной репликой — «Inconnue».

та самая

Летом жизнь Михаила Михайловича становилась особенно неказистой. Во-первых, летом не устраивалось тех собраний «бывших воспитанников», «бывших членов» и т. п., которые он любил посещать. Во-вторых, семья его сына уезжала на море, и Михаил Михайлович оставался совершенно один в пустой квартире на шестом этаже старого дома без лифта. Приходилось минимум раз в день, а то и чаще, спускаться и затем подниматься по крутой, гладко натертой лестнице; приходилось варить себе на газе макароны, которые, не становясь мягкими, почему-то всегда подгорали. Съевши это несъедобное, приходилось долго скрести, чистить и отмывать кастрюльку. А Михаилу Михайловичу уже за восемьдесят лет.

В этом году дело осложнилось еще тем, что внук Михаила Михайловича, Вася, провалившись весною на башо, был, чтобы готовиться к осенней сессии, оставлен в Париже. Точнее, впрочем, будет сказать, что Михаил Михайлович был оставлен... на съедение лицеисту.

Михаил Михайлович не то, что не любил, а просто — боялся внука. Ежеминутно ожидал он какой-нибудь новой дерзости от этого будущего баккалавра с большим, плотно, как у лягушки, зажатым ртом и круглыми очками, увеличивавшими и без того большие светлые глаза. Взгляд васиных глаз казался Михаилу Михайловичу похожим на взгляд крокодила.

При других Вася называл Михаила Михайловича «дедом». Это слово нравилось ему своею «русскостью». Но наедине он чаще называл его «vieux gaga» или «старым алкоголиком». Михаил Михайлович раздражался, бормотал что-то об «отвратительном влиянии французских школ». Он представлял себе при этом своего собственного деда, важного статского генерала с серебряными бакенбардами, во фраке, и со звездою на красной ленте через плечо. Ему, Михаилу Михайловичу, в те далекие детские его годы, никогда не приходило в голову назвать этого старика «алкоголиком».

Но ссориться с внуком было для него невыгодно: Вася завладел оставленными на их прожитие деньгами и полновластно ими распоряжался.

Перед обедом старик входил в столовую, где лицеист, валяясь на диване, читал в это время русскую газету. Заискивающе, но вместе бодрясь, дед говорил:

— Ты бы, братец, сбегал купить литровку красненького.

Этим «братец» бедный Михаил Михайлович хотел подчеркнуть свое равноправное положение.

Вася отвечал одним из обычных эпитетов, или не отвечал вовсе. Но, так как он сам был заинтересован, то «красненькое» все-таки каждый день покупалось.

— Со мною будешь обедать? — спрашивал дед.

— Как же, держи карман! Не видал я твоей дэгелас? К Кравчуку пойду готовиться, там и пообедаю: его мать отличный борщ готовит.

Михаил Михайлович завидовал васиному нахальству: каждый день, под предлогом вместе готовиться, таскался он к этим Кравчукам, обедал у них, ужинал. Почему бы и ему, Михаилу Михайловичу, не пойти когда-нибудь поесть кравчуковского борща? Но как-то совестно было. Да и Вася этого ни за что бы не допустил. Он даже «красненького» давал Михаилу Михайловичу всего полтора стакана, редко два. Но для старика и это было уже большою радостью. Глаза его соловели, он начинал нежно любить весь мир, не исключая и внука. Остальное будущий баккалавр выпивал сам. Выра-

жение его крокодиловых глаз от этого не менялось, и никакой любви он в себе не ощущал.

— Дай газету! — просил старик.

— Подождешь. Я еще сам передовицы не прочел. — Это говорилось для шика: передовицы Вася никогда не читал. У каждого из них было в газете свое излюбленное. У Васи — уголовщина и крестословицы. У Михаила Михайловича — отдел хроники. То, что происходило в Советской России он игнорировал. Французов и подавно: он считал их в чем-то очень перед ним лично виновными. Оставались — эмигранты. Ими, особенно жившими в Париже, старик чрезвычайно интересовался. У него была способность — под каждой прочитанной в газете русской фамилией, узнавать своего знакомого. Если говорилось, например, о несчастном случае с Петровым, или о том, что шофер Орлов подвергся нападению бандитов, то Михаил Михайлович всегда восклицал:

— Ведь это мой приятель, Петров!

Или:

— Ах, Боже мой, ведь я этого Орлова хорошо знаю!

Вася в таких случаях, глядя через черепаховые очки крокодиловыми глазами, хладнокровно парировал:

— Убежден, что вовсе не тот.

Иной раз случался доклад или лекция такого «бывшего приятеля» Михаила Михайловича, тогда старик, стараясь говорить с апломбом, просил:

— Дай-ка, братец, два билета метро.

— На что тебе?

— Не твое дело!

— Дело не мое, а билеты — мои.

Поиздевавшись над стариком, Вася лез в карман, долго рассматривал вынутые бумажки, наконец, протягивал билеты:

— Ну, на тебе, бери!

Возвращался с доклада Михаил Михайлович обыкновенно разочарованным:

— Действительно, не тот Иванов. Молодой еще. Должно быть, сын.

— И не сын вовсе! — обрывал его Вася.

Однажды, выпив «красненького» и унеся газету к себе, Михаил Михайлович в своем любимом отделе «хроника» прочел объявление о панихиде по скончавшейся в Советской России заслуженной артистке Волгиной-Горецкой. Он пришел в волнение.

— Вася! — крикнул он в столовую. — Подумай: Волгина-Горецкая скончалась!

— Какая Волгина-Горецкая? — спросил немного погодя лицеист.

Михаил Михайлович выбежал к нему в столовую:

— Ну, да Господи, Волгина-Горецкая, та самая! Ты же знаешь, певица знаменитая.

— Никогда не слыхал; но держу пари, что не та, — сказал лицеист.

— Ах, Боже мой! Что значит «не та»? Ведь это все равно, что сказать: «Не тот Шаляпин». Волгина-Горецкая на всю Россию одна!

«Какое непростительное равнодушие», — думал он, возвращаясь в свою комнату. — «А, впрочем, чему же удивляться? Денационализировались. Сделались французами. Что для них Россия, ее культура, ее искусство? Ее прошлая слава?

Этим горестным размышлениям Михаил Михайлович предавался недолго. Он начал думать о покойной Волгиной-Горецкой, старался вспомнить все, что о ней знал.

На беду, память его, начиная впадать в детство, обнаруживала ребяческую шаловливость: возьмет вдруг, да и запрячет все нужное неизвестно куда. Так было и теперь с этой Волгиной-Горецкой. Он ничего не мог вспомнить, кроме огромных черных глаз и вдетых в уши залотых браслетов. Да и то он не знал наверно, принадлежали ли они Волгиной-Горецкой, или другой какой-нибудь артистке.

Но на следующее утро память начала поступать с ним более гуманно. Так, он вспомнил, и теперь уже с полной определенностью, что черные глаза и золотые браслеты в ушах, действительно, принадлежали Волгиной-Горецкой. «И как мог

я забыть это! Моя Кармен!» Обрадованный щедростью своей памяти, Михаил Михайлович начал потихоньку напевать:

«Любовь — птичка, но не ручная,
И приручить ее нельзя...»

Однако, во время спохватился: Вася из своей комнаты мог слышать.

Панихида была назначена в пять часов. Михаил Михайлович тщательно осмотрел и почистил свой старый, по бортам уже обтрепанный пиджак, ножницами подстриг бахрому на брюках. И тут только вспомнил, что Вася опять ушел к своим Кравчукам. Какая досада, автобус довез бы его до самой церкви. Идти к Кравчукам и при них выпрашивать у Васи тикеты не хотелось. Отправился пешком.

До церкви было далеко. Боясь опоздать, Михаил Михайлович торопился и очень устал. Пришел, однако, первым. Сел на лавочку, стал ждать.

Сидеть так, в слабо освещенной церкви и думать о Москве, о студенческом времени, о благотворительных вечерах и концертах, на которых он любил бывать распорядителем, о черноокой Волгиной-Горецкой доставляло Михаилу Михайловичу большое удовольствие. Только пить ему страшно хотелось. «Красненького бы теперь».

Пришла немолодая, сильно накрашенная дама в глубоком трауре. «Не дочь ли?» — подумал Михаил Михайлович. Начал искать в ее лице сходства с покойной. Но сходства не было.

С дамой пришел господин. Высокий, солидный. Отлично выбритый и одетый. Они пошептались с псаломщиком. Наконец, явился священник. Дама благословилась, взяла из его руки свечу. «Конечно, дочь», — решил Михаил Михайлович. Он вышел из своего угла; стал позади них. Спутник дамы оглянулся, хотел было поклониться, но, видя, что незнакомый плохо одетый, — поскорее отвел глаза .

«Странно, что совсем нет публики, — оглядываясь в свою очередь, подумал Михаил Михайлович. Панихида началась. Они стояли вчетвером: дама с господином, он, да еще какая-то старушонка сзади, явно непричастная; из тех, что усердно молятся за незнакомых покойников.

Когда панихида кончилась, Михаил Михайлович, подойдя к даме, почтительно поклонился (спутник ее разговаривал в это время со священником).

— Позвольте выразить вам, сударыня, мое глубочайшее соболезнование, — сказал он проникновенно. — Не будучи вам знаком, хорошо знал покойницу матушку вашу.

— Вы знали мамочку? — живо спросила дама. В глазах ее была печаль и признательность. Она протянула Михаилу Михайловичу руку, которую тот с чувством поцеловал. — Спасибо, что пришли. Теперь уже мало, кто ее помнит.

— Мало, действительно! — вздохнул Михаил Михайлович. — «Сик транзит», как говорится. Мне, сударыня, восьмой десяток давно стукнул, но я, смею вас уверить, как вот сейчас вижу перед собой вашу матушку. В студенческие годы был горячим поклонником...

— Пойдемте в кафэ посидим, — ласково, как знакомому, предложила дама. — Мне так приятно поговорить с человеком, который мамочку помнит. Мы еще успеем до всенощной. Николай Петрович, — подозвала она своего спутника, — не правда ли, можно не надолго в кафэ?

— Как прикажете, — сдержанно отозвался тот. Разговора их он не слышал, а перспектива сидеть в дрянном кафэ с каким-то неизвестным старикашкой — ему, видимо, мало улыбалось.

Зато Михаил Михайлович был в восторге: «Она приглашает, она и платить будет. Так всегда делается».

Кафэ, куда они зашли, — как и все другие этого бедного квартала, — оказалось, действительно, дрянным. Дама посмотрела на не вытертый столик и сделала гримаску. Николай Петрович пожал плечами: инициатива, дескать, была ваша.

— Вы что пьете? — когда подошел гарсон, спросила дама Михаила Михайловича.

— Если позволите, — красненького. — Он едва не прибавил «за здоровье вашей матушки», но во время спохватился.

— Ну, рассказывайте же, рассказывайте, где и как вы с мамочкой познакомились, — экспансивно торопила дама. — Простите, ваше...

— Михаил Михайлович.

— Представьте, Николай Петрович, Михаил Михайлович был хорошо знаком с бедной мамочкой.

— Да? — произнес Николай Петрович с учтивым удивлением человека, которому сообщают что-нибудь неожиданное, но вовсе неинтересное.

— Как же, как же, поклонником был! — Михаил Михайлович уже наполнял свой стакан и находился в приятной ажитации. — Бесподобна, помню, была она в «Кармен»...

Возлагаемые на него надежды дамы и выпитое натощак в неурочное время «красненькое», подействовали на Михаила Михайловича поразительно. Зашалившая было память, услужливо и быстро подавала теперь все необходимое. Сам удивлялся, как хорошо выходило, как складно, с какими подробностями. И ни малейшего шаржа, ничего неправдоподобного.

Он рассказывал, как он, молодой студент из тех, что тогда называли «белоподкладочниками», в николаевской шинели с пелериной и с бобровым воротником, ехал в карете куда-то на Молчановку, за Волгиной-Горецкой, чтобы везти ее на благотворительный концерт в Благородном Собрании, в котором она изъявила согласие участвовать. Рассказывал о своем волнении, о том, как он ждал ее выхода в гостиной с роялем и с лавровыми венками по стенам.

«Вероятно так оно и было», — пронеслось в его немного кружившейся голове, — «потому что выдумать я бы не сумел. Теперь — ее появление, и ботики, которые я, замирая от восхищения, надевал на ее крошечные ножки, обутые в атласные туфельки».

Дама слушала с радостным умилением. Даже брюзгливый Николай Петрович казался теперь благосклоннее.

«Нет, нужно еще что-нибудь прежде, чем перейти к ботикам», — подумал Михаил Михайлович. И не успел подумать, как вспомнил (вспомнил или вообразил — кто это решит? Воображение не та же ли память?). Он вспомнил, что в гостиной Волгиной-Горецкой было нечто, относившееся к ребенку. Кажется, резиновая кукла со свистулькой, которая ничком лежала на ковре. Какая художественная деталь! Но ему вдруг захотелось «присочинить» (а «присочинять» — не следует даже профессиональным сочинителям. Или, если уж, то с величайшей осторожностью). Резиновой куклы со свистулькой показалось мало: она не оправдывала жадного внимания дамы. Кукла, в мгновение ока, была заменена живым ребенком.

Михаил Михайлович ласково, не без игривости, взглянул на свою слушательницу:

— Вдруг... дверь из внутренних комнат быстро отворилась и в гостиную вбежала прехорошенькая девочка лет пяти. Вы без труда отгадаете, сударыня, кто была эта девочка.

Говоря Михаил Михайлович с испугом видел, внезапно происшедшую в лице дамы перемену. Из сладко-внимательного оно вдруг сделалось недоуменным и негодующим.

— Виноват, это в котором же году происходило? — насмешливо полюбопытствовал Николай Петрович.

— Это? Позвольте... Ну, да, да, разумеется: это было как раз на другой год после коронации.

— Какой «коронации»? — почти истерически воскликнула дама.

— Коронации государя Николая Александровича, — ничего в перемене их настроения не понимая, уточнил Михаил Михайлович. — Зимою 97 года.

— 97-го?! — вскричала дама, готовая упасть в обморок.

Николай Петрович поспешил на этот раз Михаилу Михайловичу на помощь:

— Вы оговорились. Вероятно в 907-ом, — сказал он вкрадчиво.

Но на подобный анахронизм Михаил Михайлович согласиться никак не мог.

— Помилуйте-с! Да в 907-ом году я давно женатым человеком и отцом семейства был.

Дама, которая успела опомниться от потрясения, неприятно засмеялась.

— Вы, может быть, перемешали фамилию, и это была не мама, — сказала она, глядя на бедного Михаила Михайловича с уничтожающим презрением. — Вы, между прочим, сказали «Молчановка». Моя мать на Молчановке никогда не жила.

— При том, — заметил Николай Петрович, — у матушки вашей, насколько мне известно, было лирическое сопрано, и Кармен она петь не могла.

— Не лирическое, а меццо-сапрано, — не сдавался Михаил Михайлович.

— Нет, лирическое! — окончательно рассердилась дама. — позвольте мне лучше знать! Вы хотите уверить меня, что мы жили на Молчановке, тогда как мы там не жили. Говорите, что мать моя пела Кармен, тогда как она Микаэллу пела. Это, накенец, смешно! А видеть меня в 97-ом году вы уж, во всяком случае, не могли: я родилась в 906-ом!

— Оставьте, не стоит, — потихоньку удерживал ее Николай Петрович. Потом громко: — Однако, мы ко всенощной опоздаем. Вы тоже идете? — с приторной любезностью обратился он к Михаилу Михайловичу.

— Нет-с, я домой, — пробормотал несчастный. Он торопился встать: пришло в голову, что, рассердившись, они могут, не заплатив за него, уйти.

Но Николай Петрович уже бросал на стол деньги, знаком показывая гарсону, что платит за троих и что сдачи не нужно.

— Так до свидания, — улыбнулась дама одною из тех неописуемых улыбок, которые всегда имеют в запасе обозлившиеся женщины.

— Что, опять — не та? — встретил деда безжалостный лицеист.

Измученный, расстроенный, Михаил Михайлович прошел мимо него не отвечая. Теперь ему и самому уже казалось, что его Кармен звали не Волгиной-Горецкой, а как-то иначе. Тоже, как будто, двойная фамилия. «А эта — так, несчастное сопранишко на вторых ролях», — со злорадством подумал он про покойницу.

И ему вдруг, яснее чем когда-либо, почувствовалось, что в Париже жить — ужасно, что в Россию уже не вернуться. И что внук, в сущности, прав, называя его старым алкоголиком.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Начиналась та пора года, которую почему-то «belle saison» называют. Духота, пыль, уличный шум; переполненные отбросами ведра и лохани по тротуарам; в соседнем бистро радио то убедительно и напористо политическую речь произносит, то вдруг жазом грянет, или говорком, противным речитативом, шансонетку разделывать пойдет.

Юлии Васильевне иной раз прямо невмоготу. Устала она за зиму: ученицы ничего не понимают, никакими науками не интересуются; директриса — формалистка, на молодую преподавательницу, как только та что-нибудь новое ввести хочет, — смотрит косо. А вечера приходится проводить за поправкой тетрадок!

Хорошо бы теперь в природу. Вот и весна уже прошла, а что она от нее, кроме вялой сирени на лотках, видала? Хоть бы на большие каникулы в деревню вырваться. Но как Юлия Васильевна ни урезывает свои расходы, как ни складывает будущие получки, — летний отдых все-таки не выкраивается.

В самом конце июня, когда она, отчаявшись, и мечтать уже бросила, Юлия Васильевна неожиданно получила пневматичку от Нюшеньки.

С этой своей кузиной она видалась редко. Отчасти потому, что Нюшенька подолгу в Париже не жила, а отчасти, может быть, и пренебрегала Нюшенька бедной родственницей.

Узнав теперь, что кузина в Париже и непременно хочет с нею повидаться, Юлия Васильевна удивилась и обрадовалась: «Своей жизни нет, так хоть на чужую поглядеть».

Пошла на другой же день.

Нюшенька занимала большой номер хорошего отеля. В пестром шелковом халатике она, валяясь на кушетке и что-то жуя, листала иллюстрированный журнал. Увидав Юлию Васильевну, отбросила журнал, крепко ее обняла, сказала, что безумно рада. Потом, угощая кузину дорогими фруктами, принялась жаловаться на одиночество, на нервы:

— С этой мерзавкой Татьяной я разошлась, ты слышала? С Катькой — тоже. Теперь уж навсегда. Я их обеих, наконец, раскусила. Но за науку больше ста пятидесяти тысяч заплатить пришлось. Что же тебе еще о себе сказать? С Николаем Николаевичем — все по-прежнему. Ходжерсон — помнишь его? — тоже не отстает. Кстати, он тебе кланяется. — (Юлия Васильевна никакого Ходжерсона не знала; сказать, однако, постеснялась). — Ну, а здесь, как приехала, — разумеется, Гастончик. — Рассказывая, Нюшенька с аппетитом кушала сочную грушу. — От Гастончика я сейчас прямо не знаю, как отделаться. Я ведь с Лелешем моим! — сообщила, как необычайно радостную для Юлии Васильевны весть (Лелеша был восьмилетний нюшенькин сын, которого Юлия Васильевна видела только в пеленках). — Ты с ним подружишься, я уверена: он очарователен! Послушай, у меня счастливая мысль, мы с Лелешей едем в Ниццу. Я знаю там один пансиончик: пляж, теннис, отличный стол, режим... И не очень даже дорого. Сравнительно, конечно. Поезжай с нами! Право, милочка! А?

— Что ты, Нюшенька, — болезненно удивилась Юлия Васильевна, — на какие же средства?

— Ах, да, я слышала, тебе трудно. Но это можно как-нибудь устроить. Я непременно хочу, чтобы ты ехала с нами. Ты будешь на меня прекрасно действовать: мне теперь именно такой спокойный, уравновешенный человек, как ты, и нужен. Я предпочитаю во всем себе там отказывать, но ехать с тобой. Ну, полно! как тебе не стыдно? — перебила она ее слабую попытку возразить. — Разве мы чужие? Ты ведь знаешь, как я люблю доставлять другим удовольствие.

Позвонил телефон. Нюшенька попросила подойти кузину. Но, узнав, что это Гастон, от которого она «не знала, как избавиться», вскочила, выхватила трубку и долго его упрашивала непременно сейчас же к ней приехать. Наконец, сказав: «Я вас жду», положила трубку.

Юлия Васильевна заторопилась уходить. Кузина ее не удерживала, но на прощание долго и горячо целовала.

— Значит, — решено: я тебя увожу с собою, так и знай. До завтра, душка!

Домой Юлия Васильевна вернулась счастливая. Весь вечер, под шансонетки радио, она старалась вообразить себе южное море, роскошную растительность, пальмы... Все, что до сих пор она видела только на открытках. Размечталась, наконец, до того, что решила купить себе купальный костюм: « В галлантерейной лавочке на углу есть недорогие и очень миленькие».

Утром, возвращаясь с уроков, зашла и купила. Дома примерила: «В самый раз!» Закусив томатами и хлебом, поехала к Нюшеньке.

Лелеши опять не было дома. Кузина казалась не в духе. Как вчера, но в более трагическом тоне, пожаловалась на нервы:

— Я затем и приехала, чтобы посоветоваться с профессором. Вообрази, никто до сих пор не может поставить правильного диагноза моей болезни... — Очень довольная, что есть слушательница, она пустилась рассказывать, как и чем ее лечили в Лондоне, в Париже, в Нью-Иорке. Все медицинские светила Европы и Америки, по ее словам, старались ее, нюшенькину, болезнь поиять и вылечить. И, мало того, что они принимали в ней такое сердечное участие, — все они поголовно были в нее влюблены.

— Колоссальных денег мне эти господа стоили! — прибавила она вдруг в виде неожиданного резюмэ. — Ну, бросим их! Это меня расстраивает. Поговорим лучше о наших делах.

Юлия Васильевна обрадовалась: «наши дела» — это, конечно, совместная поездка в Ниццу.

Но Нюшенька начала рассказывать о какой-то, собиравшейся ее надуть, портнихе. Рассказ о портнихиной низости был прерван телефонным звонком.

Опять, как вчера, Нюшенька попросила кузину узнать кто звонит.

Говорила, по-французски, снизу, из конторы отеля, какая-то мадам Лекок: она привезла le fils de madame Gorlinsky, но сама не хотела подниматься, так как не имеет времени. Француженка говорила быстро, раздраженно. Нюшенька, тем временем, делала кузине знаки: «меня, мол, нет. Клади трубку».

Вошел Лелеша. На нем были длинные панталоны и пиджачок. Это делало его похожим на карлика. Лицо тоже недетское. Держался солидно, с оттенком брюзгливости.

Не поздоровавшись с Юлией Васильевной, начал что-то матери объяснять.

— Эта дама недовольна тем, что ты на целый день оставила ей мальчика, — кладя трубку, сказала Юлия Васильевна.

— Недовольна?! — в негодовании вскричала Нюшенька. — А? Как вам это нравится? Недовольна! Вот нахалка! Сама умоляла меня оставить его у нее. И нечего совсем было с нею разговаривать... Накормила она тебя по крайней мере? — обратилась она к сыну.

— Она мне такую гадость давала, что я не захотел.

— Какую же «гадость», детка?

— Бургиньон. Я же не стану есть бургиньон. Я сказал, что хочу эскалопку.

— Ты не должен был этого говорить. Просто беда, Юляша: никакого аппетита у мальчика. Как ты думаешь, отчего это?

Лелеша, пока мать разговаривала о его аппетите, с критическим равнодушием рассматривал гостью.

— Мама, это она с нами в Ниццу поедет?

— Да, детка, она. Но как нам быть, Юляша? Я думала просить тебя съездить со мною к профессору. Теперь, из-за этой дуры Лекокши, мне придется ехать одной. А ты, голубчик, золото, побудь с Лелешей. Да купи ему, душка, ветчины. Магазин рядом, он тебе покажет.

— Я не хочу ветчины.

— Но, мальчик, на чем же тетя будет жарить тебе эскалопку? Не обращай внимания, — шепнула она Юлии Весильевне. — Он ужасно нервнен. Главное, не старайся его переупрямить, из этого все равно ничего не выйдет, только хуже.

Окончив свои педагогические наставления, Нюшенька уехала к профессору. А Юлия Васильевна отправилась с Лелешей покупать ему ветчину.

Он вел ее очень уверенно. Но, вместо гастрономического, вдруг вошел в кондитерскую. Здесь, ничего не говоря, и не торопясь, он съел один за другим два пирожных. Юлии Васильевне пришлось заплатить. Выйдя, она стала читать ему нотацию. Лелеша слушать не стал: он остановился перед витриной писчебумажного магазина.

— Вот точно такой ножик, как у Эрвэ, заметил он про себя и, опять ничего не объясняя вошел в магазин.

Юлия Васильевна крикнула ему, что денег у нее нет.

Лелеша, пожимая плечами, вышел:

— Зачем же вы этого маме не сказали? — спросил он строго. Окончательно ее уже игнорируя, отправился домой.

Матери, как только она вернулась, объявил:

— Я страшно голоден; ничего не ел: у мадам денег не было.

Нюшенька хотела было выразить Юлии Васильевне свое неудовольствие, но, сообразив, что это невыгодно, выслушала ее объяснения и, поморгав ей тихонько, замяла разговор.

—Как, душка, ты уже уходишь? А мне еще столько нужно бы тебе рассказать. Этот профессор... Боюсь, что он тоже ничего во мне не понимают. Так придешь завтра? Да? Ты мне

необходима! Что? Урок? Ах, брось, пожалуйста: я тебе все возмещу. Кстати о Ницце потолкуем.

На другой день она встретила Юлию Васильевну уже одетою.

— Едем, едем! Лелешу опять к Лекокше завезти придется. Ты ей скажи, детка, что я у нее шляпу закажу: она с тобою подобрее будет.

— Дай-ка мне 200 франков, — деловито сказал Лелеша.

— На что тебе?

— Если не дашь, — не поеду к Лекоше.

— Ну, на, на!

Взяли такси. Сдав Лелешу консьержке мадам Лекок, поехали к портнихе.

— Говорила сегодня с Гастончиком, — сообщала Нюшенька дорогой, — гонит меня из Парижа. Профессор — тоже. И из-за нервов Лелеши, и из-за моих я обязана это сделать. Но для Ниццы теперь не сезон; а Лелеша плохо переносит жару. Гастончик советует Савойю. Снимем там шалэ... Ты ведь умеешь, конечно, готовить? Я не притязательна. Только Лелеше режим нужен. Но ты приспособишься.

Юлия Васильевна была немного разочарована: она уже настроилась на Ниццу. Но, подумала, в конце концов, и в Савойю не плохо. А купальный костюм можно на свитер сменить. Не совсем ей нравилось, что готовить на них придется. Впрочем, сейчас же собственного эгоизма устыдилась: у Нюшеньки могут быть денежные затруднения, мило с ее стороны, что она все-таки берет ее с собою.

Примеривая у портнихи платье, Нюшенька нашла, что оно плохо сидит. За подтверждением обратилась к кузине.

— По-моему, хорошо, — по-русски сказала Юлия Васильевна.

— Не говори, пожалуйста: она по тону понимает, — раздраженно перебила Нюшенька. — Мадам тоже находит, что талия не на месте, — перевела она ее ответ портнихе.

Когда вышли, на Юлию Васильевну посыпались упреки:

— Ты меня в ужасное положение поставила! Я тебе говорила: она с меня лишнее за фасон дерет. Если бы ты меня поддержала, она бы скидку сделала. Ну, все равно, теперь уж не поправишь!

После портнихи побывали в нескольких магазинах. Наконец, поехали к русскому доктору.

— Я останусь в такси, — говорила Нюшенька, — а ты поднимись к нему. Дело, видишь ли, в том, что он должен был меня оперировать. Но профессор не советует мне на операцию решаться. Кроме того, одна дама говорит, что этот русский доктор — шарлатан. Да и наша поездка в Савойю будет мне таких денег стоить, что — какая уж тут операция! Словом, скажи ему, что я уехала, а куда — ты, будто, не знаешь.

— А если он тебя увидит?

— Он из дома не выйдет: у него прием.

— Из окна может увидать.

— Окна — на двор. Ах, как с тобой трудно, Юляша: ты ужасно любишь спорить. А мои нервы этого совершенно не выдерживают.

«Она поминутно ставит меня в самые неловкие положения», — входя в лифт, думала Юлия Васильевна. И что это еще будет в путешествии, когда она со своим несносным Лелешей...

Приняв и выслушав ее, доктор сказал, что он «крайне удивлен», что «так не поступают». Просил передать мадам Горлинской, чтобы она потрудилась выслать ему те 12.000 франков, которые она осталась ему должна.

— Что? Какие 12.000? — накинулась на нее в такси Нюшенька. — Очумел он, что ли? Я говорила ему: за радиоснимки платить не могу. Ну, да, он — шарлатан! Но ты же сказала ему, надеюсь, что я ему ни одного франка не должна?

— Как же я могла сказать, когда я ничего не знаю?

— Не трудно, кажется, догадаться было! Скажи шоферу, чтобы в отель ехал: я расстроена и никуда больше не могу. 12.000 франков! Это ужасно! Я теперь положительно не знаю,

удастся ли мне после этого в Савойю поехать. Бедный мой Лелеша, которому необходим горный воздух!

В номере, расположившись на кушетке и съев порядочное количество накупленных сластей, она стала смотреть на будущее менее мрачно.

— Процесса доктор не начнет: он ко мне неравнодушен. И что для него, богатого чорта, 12.000? А относительно нашей поездки, я кое-что придумала. После скажу. А сейчас, душка, золото, съезди к Лекокше, привези мальчика. Если он злой, — купи ему пирожное.

Мадам Лекок, вся красная от негодования, несколько раз повторила Юлии Васильевне, что, при всем уважении к мадам Горлинской, она совершенно не понимает ее поступков.

Лелешу на обратном пути с трудом удалось загнать в метро: он желал обязательно в такси ехать.

— Если у вас никогда нет денег, вы бы у мамы могли попросить, — сказал он назидательно.

А когда она, наконец, доставила его в отель, у Нюшеньки от беспокойства, что их так долго нет, уже «безумно» голова разболелась. Разговор о Савойе пришлось отложить до завтра.

Среди всех этих столкновений, капризных выдумок и бестолкового вздора, Юлия Васильевна точно в вихре каком-то носилась. Опомнилась только в своей комнате, глядя на купальный костюм, который она с такою радостью покупала, потом собиралась сменить на свитер... А теперь вот оказывалось, что свитер ей так же не нужен, как и купальный костюм. Никуда она, конечно, не поедет. Да и желания уже нет никакого. «Как бы только не обидеть Нюшеньку отказом», думала она, «ведь у нее все-таки было искреннее желание доставить мне удовольствие».

На следующий день, сразу после обеда, как было условлено, Юлия Васильевна позвонила кузине. Начала было говорить, что не хочет доставлять ей лишних хлопот и расходов.

— Не беспокойся, я уже все устроила, — радостно перебила ее Нюшенька. — У меня только что был Яков Ильич. Он согласился одолжить тебе, для твоего летнего отдыха, тысяч тридцать.

— Какой Яков Ильич? — ужаснулась Юлия Васильевна. — Зачем ты его просила?.. Я не возьму... Я никакого Якова Ильича не знаю...

— Это не имеет значения: он делает это не для тебя, а для меня. Ах, не спорь, пожалуйста! Я с таким невероятным трудом тебе эту поездку устроила.

— Но я не могу взять этих денег... — чуть не плача, бормотала Юлия Васильевна в трубку.

— Брось! Брось, пожалуйста, деликатничать, — опять перебила Нюшенька. — Он очень рад сделать что-нибудь для меня. Теперь вот что, Юляша. Коферчик мне все-таки необходим: вижу, что не помещусь. Не можешь ли ты съездить в тот магазин дорожных вещей? Возьми — желтенький, небольшой, который мне тогда понравился. И прямо вези его ко мне. Ради Бога, Юля! Я разрываюсь, ни секунды времени. Бери такси!

Она бросила трубку. А Юлия Васильевна, чуствуя себя не в силах сопротивляться уносившему ее вихрю нелепостей, поехала покупать кофер.

Когда она привезла его в отель, ей подали сложенный в записочку клочок оберточной бумаги.

«Юляша, милая», — писала Нюшенька. — «прости, ужасно спешу. Вообрази, как все чудесно устраивается: Яков Ильич едет с нами. Несусь к нему, чтобы сговориться о дне отъезда. Коферчик оставь у портье. Еще раз — прости, но ведь я хлопочу исключительно для тебя».

«Боже мой, вдруг она возьмет мне билет!» — прочитав записку, с ужасом подумала Юлия Васильевна. — «На всех на них готовить, посуду мыть, — какой же это отдых? А в результате — еще долг в тридцать тысяч!

В этот злосчастный день она несколько раз звонила в отель. Но ей каждый раз отвечали, что мадам Горлинская не возвращалась. Вечером она написала кузине решительный отказ, но, перечитав утром, нашла его слишком резким, и не послала. Опять пыталась звонить. Сказали, — с утра уехала. Мужской голос в трубке с каждым разом становился все суше. Юлия Васильевна не знала, что делать. Подумала, не съездить ли к мадам Лекок? Долго колебалась: ничего приятного этот визит не обещал. Наконец, все-таки поехала.

Лекокша, против ожидания, приняла ее с самой очаровательной улыбкой:

— Готова, готова! Давно готова! — сказала, выбегая зачем-то в соседнюю комнату.

— Что — «готово»? — оторопело пробормотала Юлия Васильевна.

Но та не слышала.

—Un amour de chapeau! Vous allez voir! — говорила она из-за двери.

Вернулась торжествующая, неся в поднятых руках маленькую шляпку из пестрых перышек. Смотрела, какой эффект производит на заказчицу этот шедевр.

— Я не заказывала вам никакой шляпы, — виноватым тоном сказала Юлия Васильевна.

— Разве вы не от мадам Горлинской? Ведь вы ее dame de compagnie?

— Мадам Горлинская мне ничего не поручала. Я даже не знаю, где она. Я вас хотела спросить... Может быть, она уехала?

— Уехала?! — Лекокша мгновенно сменила угодливый тон на негодующий. — Non, mais ça! Оставила она вам по крайней мере 4.500 франков за шляпу?

— Я же вам говорю, что даже не знаю, где сейчас мадам Горлинская... Я вовсе не дам де компани. Я ее дальняя родственница...

— Все это прекрасно, — перебила обозленная Лекокша. — Это меня, впрочем, и не касается. Скажите лучше, кто мне за шляпу заплатит?

— Я о шляпе ничего не знаю... — оправдывалась Юлия Васильевна.

— Не знаете? Для чего же вы, в таком случае, пришли?

Юлия Васильевна, бормоча несвязные оправдания, спешила уходить. «Что эта дама будет думать о русских?» — пришло ей в голову. Имей она теперь в кармане четыре с половиной тысячи, она, не задумываясь, отдала бы их Лекокше.

После этой неудачи, Юлия Васильевна ничего уже не стала предпринимать. Прошло пять томительных дней. На шестой она, наконец, получила письмо. Но не от Нюшеньки, как ожидала, а от какого-то ей совершенно неизвестного мосье Жакоба Познатовского (имя это было на обороте конверта).

Жакоб Познатовский в сухой и лаконической форме извещал «Милостивую Государыню», что просьбы ее исполнить не может, так как взял себе за правило, незнакомым людям денег взаймы никогда не давать. Что касается мадам Горлинской, то она, по требованию врача, была вынуждена спешно покинуть Париж, а ему, Познатовскому, поручила передать своей кузине, что она, при всем желании, больше ничего сделать для нее не может.

Прочитав это оскорбительное письмо, Юлия Васильевна почувствовала несказанное облегчение: летний отдых в обществе Нюшеньки, Лелеши и Жакоба Познатовского ей теперь уже не грозил.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Доброе дело, которое, со свойственным ему юмором, он называл потом «чудовищным», Бураев совершил еще до войны, в самые цветущие свои годы. Совершил он его не один, а в сообществе с Коброй. Кобра была дактило. И, сверх того, — старая дева. Настоящая, несомненная старая дева, то есть экземпляр породы и тогда уже редкой, а теперь и вовсе невстречаемой.

Длинная, извилистая, она носила узкие юбки и вязанные кофты в обтяжку. Так что фигура ее, действительно, напоминала змею. Большие круглые очки в роговой оправе — довершали сходство. В характере же ее ничего ядовитого не было. Напротив: она имела, например, прекрасный, редкий, но мало ценимый дар бескорыстной, нетребовательной дружбы.

Объектом кобриной дружбы была тогда Тася: девица лет на пятнадцать моложе ее, и довольно хорошенькая.

Обеих их Бураев встретил в кружке Волчанского. Что это собственно за кружок — определить ему было трудно. Затруднялся он тоже сказать, кто такой был сам Волчанский; то есть, имел ли он определенную профессию, и, если имел, то — какую. Он очень много говорил, еще больше — писал. Он писал критические отзывы, библиографические заметки, и научные статьи по всем решительно отраслям знания. Бураев слышал от него, что он готовит к печати брошюру под заглавием «Генезис идеи о кривизне пространства», и, в то же время, встречал в русской газете объявление о его лекции, «Ассиро-халдейское зодчество». Что же касается его кружка,

который Бураев шутя прозвал «кружком космических проблем», то там говорили о судьбах России, о Шпенглере, о теории относительности, о гормонах и о психоанализе. Говорили иной раз и о первородном грехе.

Многие считали Волчанского шарлатаном. Но Бураев, охотник до всего оригинального, согласиться с ними не мог. Он даже готов был находить элемент гениальности в этом человеке: колоссальная память и эрудиция соединялись в нем с блеском ума (а иногда и безумия), широтою кругозора поистине космической, и совершенно необузданной фантазией. Темперамент у него был такой, что его на сто средних людей с избытком хватило бы. Во время прений и диспутов, он не говорил, а дико, яростно орал; жестикулировал, как сумасшедший; потрясал кулаками; хватался обеими руками за голову и сжимал ее, будто боялся, что череп его не выдержит внутреннего давления и, как бомба, разорвется.

Бураев называл его лицо «футуристическим»: нос — на сторону, улыбка — кривая, правая бровь — выше левой. В глазах, которые от расширенных зрачков казались темными, мелькало иногда выражение злой голодной собаки. Густые мятежные волосы и «интересная бледность» кое-как спасали эту вызывающую беспокойство наружность.

Состав кружка «Космические Проблемы», несмотря на производимый председателем строгий отбор, а, может быть, именно вследствие этого отбора, — казался довольно странен: было несколько старых чудаков (частью просто ненормальных); были средних лет теософки; был даже один интегральный нюдист, с острой бородкой и порядочным брюшком; впрочем, — скромный; и одетый, разумеется, как все. Главный же контингент составляли увлекавшиеся Волчанским девицы разных возрастов. Девицы, теософки и чудаки читали рефераты. Нюдист ограничивался участием в прениях. А. Бураев — наблюдал и подтрунивал.

Чаще всех выступал, конечно, председатель. Иногда он излагал свои парадоксальные идеи увлекательно. Но, увлекаясь ими сам гораздо больше, чем аудитория, постоянно отхо-

дил от темы. Так, в докладе о «метафизике небытия», он говорил почти исключительно о музыкальных драмах Вагнера. Но, по мнению Бураева, это ровно ничего не означало. Кроме разве того, что гениальность из всех стихий самая неукротимая.

С некоторыми членами кружка, главным образом с Тасей и Коброй, Бураев скоро довольно близко сошелся. Девицы вместе снимали маленькую квартирку и, простукав целый день на машинках (каждая в своем учреждении), по вечерам принимали знакомых. Первым лицом и здесь был Волчанский. Тася не на шутку им увлекалась. Да и она ему нравилась. Впрочем, Тася многим нравилась: «чуткая девушка», с «запросами»... Эти выражения теперь смешны, но тогда ими еще пользовались.

Кроме членов кружка, часто бывал у Таси механик Корзит. Если бы этому господину задать вопрос, что он думает на тему любого читанного в кружке доклада, — предположим, «об актуальности для современной эпохи апокалиптических пророчеств» (а такой доклад был), — он наверно дико бы захохотал. Но с подобными вопросами, даже самые наивные члены кружка, вроде Кобры, к нему никогда не обращались.

Где и как Тася с Корзитом познакомилась — Бураев не знал. Видеть их вместе — ему всегда казалось странным. Только много лет спустя, он убедился, что Корзит понимал «чуткую девушку с запросами» гораздо лучше, чем все они, не исключая и Волчанского.

Если члены кружка, приходя к Тасе, находили там Корзита, Тася, встречая их, каждому шептала:

— Он скоро уйдет.

Но он уходил не так скоро. Всех, особенно ее, стесняя, начинал он рассказывать о каком-нибудь взятом им патенте.

— Что вам за охота знаться с этим патентованным идиотом? — возмущался Волчанский. — Это же тупица, это — американец!

Американцем Корзит не был. Он был латыш, но много лет прожил в Соединенных Штатах и совершенно американизировался. Занимался изобретениями. Изобретал разные

хозяйственные машины: пылесосы, кастрюльки под давлением, аппарат для чистки овощей. У него была в Париже собственная механическая мастерская, где его изобретения изготовлялись.

По-русски он говорил правильно и очень отчетливо, широко открывая свой большой рот. Легкий иностранный акцент обусловливался именно этим чрезмерным открыванием рта. Вообще же он был вполне положительный тип. Это-то, в связи с его добродушным самодовольством, и возбуждало в Волчанском «исступленное отвращение», в котором он Бураеву не раз признавался. Смешно было бы предположить тут ревность. Тася сама над Корзитом смеялась и называла его «механическим человеком».

Весною вся компания разъехалась на каникулы: Тася с Коброй — на Кот д-Азюр, Бураев — в Швейцарию, Волчанский, вместе с нюдистом, — на Корсику.

Вернувшись через месяц, Бураев, первого встретил Волчанского. Встретились они оригинальным образом. Строго говоря, они даже и не встретились, а увидали друг друга, стоя на противоположных платформах метро Конкорд.

— Вы слышали? Тася замуж вышла! — напрягая голос, прокричал Волчанский.

— Что вы говорите! За кого?! — прокричал Бураев.

— За этого кретина! За этого идиота из идиотов! — Выкрикивая международные ругательства, Волчанский потрясал кулаками.

Публика обеих платформ смотрела с удивлением: думали, вероятно, что он Бураева так поносит. Положение его получалось неловкое. К счастью, между ними врезался поезд метро. Бураев видел, как, уже в вагоне, Волчанский, с зверским лицом, обернувшись к нему, продолжал ругаться и жестикулировать.

Не мудрено было, конечно, догадаться, кто был предметом этой необузданной ярости. Но сообщенному факту Бураев сперва просто отказывался верить.

Факт, однако, подтвердился. Подробности он узнал от Кобры, которой он позвонил на службу. Она дала ему свой новый адрес, и он тотчас к ней отправился.

По ее словам, Тася, уезжая на юг, о браке с Корзитом вовсе не думала. Они собирались ехать на Корсику, куда Волчанский, с которым Тася переписывалась, их звал. Они наверно и уехали бы, только денег у них не хватило. А тем временем приходит письмо от Корзита. Письмо это — Кобра его читала — было строго деловое. Он писал, что ему, наконец, удалось совершенно упрочить свое материальное положение: получил заказ на большую партию запатентованных им машин для стирки белья. Теперь ему остается только организовать свою семейную жизнь. Делать это он собирается совместно с нею, Тасей.

— Предложения в письме, собственно, не было, — своим наивным и вялым тоном говорила Кобра. — Тася считает, что это по-американски. Она ему так же и ответила: «Хорошо, давайте совместно организовать семейную жизнь». Она хохотала, когда писала. Я ее спрашиваю: «Ты разве хочешь за него выходить?» А она говорит: «Почему же — нет?»

По тону Кобры Бураев не мог понять, одобряет она, или не одобряет.

— Это все-таки странно! — недоумевал он. — Ну, а дальше?

—Дальше — ничего. Корзит прислал телеграмму: «Rentrez». Мы уложили вещи и приехали. Приехали в субботу, а в понедельник они в мэрию пошли.

Поздравляя потом Тасю, Бураев чувствовал неловкость.

— Вот я какую штуку выкинула! — сказала она, смеясь. — Признайтесь, вы от меня не ожидали? Я и сама не ожидала.

Заседания «космических проблем» стали происходить в «небольшой, но комфортабельной», как он говорил, квартире Корзита. (Бураев узнал любопытную деталь: Корзит снял и обмеблировал ее еще раньше, чем написал Тасе).

Хозяина члены кружка видели редко, и нисколько об этом не сожалели. Тася начала прекрасно одеваться, похорошела. Но у нее появился разочарованный вид женщины, вышедшей замуж по рассчету, и желавшей уверить других и себя, что она принесла жертву. Кроме, может быть, одной Кобры, никто этому не верил.

После Рождества Корзит, по делам своих патентов, уехал в Америку. Во время его отсутствия, заседания продолжали происходить на его квартире. А Волчанский, Бураев и Кобра — собирались там чуть ли не каждый вечер.

Волчанский вел себя с Тасей гораздо свободнее, чем до ее замужества: по-приятельски обнимал ее за плечи, говорил на ухо двусмысленности, прибавляя, что Кобре, как девице, слышать этого нельзя. Бураеву он хвастался, будто Корзиту «рога наставляет». Но именно потому, что он свою близость с Тасей так афишировал, Бураев не верил. Да к «чуткой девушке» это как-то и не шло. На его прямой вопрос об этом, Кобра, помолчав, неохотно ответила:

— Тася говорит, что нет.

Время они проводили не скучно. Угождая любопытству дам ко всему таинственному, Волчанский рассказывал разные удивительные вещи. Рассказывал он, например, что одна знакомая ему восьмидесятилетняя француженка-виконтесса, на собственной вилле под Парижем, черные мессы устраивает. Рассказывал, как расправляется с неграми какой-то сказачно-богатый родственник его, плантатор сахарного тростника на Антильских островах. Особенно любопытны были рассказы о ламаитских монастырях, которые он наблюдал, живя в Шигатцэ. На вопрос Бураева, как он туда попал, он объяснил, что в 19-ом году был в армии Колчака и, спасаясь от красных, бежал в Тибет. Бураев не без ехидства спросил, читал-ли он Осендовского. Но Волчанский сделал вид, будто прозрачного намека не понял.

Кобра принимала занимательное вранье Волчанского за звонкую монету. Тася, бросив свой разочарованный вид, упрашивала его свести ее на черные мессы. А он, хохоча, отве-

чал, что готов, но только с тем, чтобы она, что бы с нею там ни случилось, после на него не пеняла. Бураев, не предвидя, что из их времяпрепровождения выйдет, находил его забавным.

Прошло месяца два. Бураев как-то спросил Тасю, какие известия она имеет от мужа. Она сказала, что американцы изобретением заинтересовались и дают деньги.

— Какое изобретение? — полюбопытствовал он.

— Крысоловка. Очень комфортабельная, — сострил Волчанский.

— Вовсе не крысоловка! — смеясь, сказала Тася. — Что-то с мотором, кажется. Я сама хорошенько не знаю.

Скоро после этого, пришло из Чикаго письмо par avion. Корзит писал жене, чтобы она ликвидировала парижскую квартиру, и ехала к нему.

— Вы не поедете? — спросил возмущенный Волчанский.

— Ну, как я могу не ехать? Придется! — печально ответила Тася.

Услыхав это, он пришел в неописуемую ярость. С глазами бешеной собаки, при Бураеве и Кобре, начал он кричать на Тасю, что все ее запросы и высшие интересы — ломанье, глупое кокетство! Что она ничего не может придумать умнее, как ехать в идиотское Чикаго, чтобы плодить там Корзят, которые будут такими же тупицами, как их папаша!

Потом он выбежал, не простясь, и хлопнул дверью.

— Это чорт знает что! — вознегодовал Бураев. — Нахал! Надеюсь, что вы его после этого на порог к себе не пустите!

Тася переглянулась с Коброй и ничего не сказала. Бураеву показалось, что выходка Волчанского ей польстила: только страстно-влюбленный мог так разозлиться. Обещав всяческое содействие тасиному отъезду, в частности, сходить в американское консульство, Бураев с ними расстался.

На другой день, вечером, он зашел к Кобре, чтобы об этом сговориться. Но та, не успел он войти, объявила, что Тася в Чикаго, может быть, еще и не поедет.

— Волчанский звонил мне сегодня на службу, — пояснила она своим обычным вялым тоном. — Сказал, что с Тасей самой говорить не желает, а меня просит передать ей, что, если она уедет, он застрелится.

— Ну?

— Я передала.

— Что же Тася?

— Тася — ничего. Тася не знает, что ей делать. Она, наверно, не поедет.

Бураев пришел в негодование. Потом, вспоминая, что он своим тогдашним вмешательством наделал, он чувствовал некоторый конфуз. Но в тот момент ему было ясно одно: разрушить свою как-то все-таки устроившуюся жизнь и жизнь Корзита (пускай — ограниченного, пускай — неинтересного, но честного, порядочного Корзита), из-за того, что полоумный Волчанский грозит застрелиться, — было бы со стороны Таси поступком не только возмутительным, но и глупым. Для чего же, если так, выходила она замуж?

Об американском консульстве между ним и Коброй речи в этот день не было. Он стал горячо убеждать ее повлиять на подругу. Он убеждал ее битый час. Она не спорила с ним, но и не соглашалась. Опять Бураев не мог разобрать, каково ее собственное мнение.

Наконец, ввиду его неотвязчивости, она сообщила ему одну интересную подробность: Волчанский, оказывается, требовал от Таси, чтобы она бросила Корзита ,и ехала с ним, Волчанским, на Кубу.

— На Кубу? — не веря ушам, вскричал Бураев. — Почему — на Кубу?

— Не знаю. Он так сказал: на Кубу.

— Это бедлам какой-то! — напустился он на нее.

Она поморгала глазами. Потом, подумав, сказала:

— Да, мне тоже кажется, что это — несерьезно. Тем более, что деньги на поездку туда — пришлось бы взять у Корзита.

Решить, насколько собственная наивность Кобры прибавляла нелепости к ее рассказу, — Бураев не мог: звал ли Волчанский Тасю на Кубу, предлагал ли ей требовать на это денег у Корзита, — так и осталось для него невыясненным. На Кубу Волчанский, однако, скоро после этого, действительно, уехал. Что касается Таси, то она, еще прежде него, уехала в Чикаго. А Бураев и Кобра этому всеми силами содействовали: они возились с Тасей целыми вечерами, доказывали ей, что Волчанский не застрелится; хлопотали по делам парижской мастерской Корзита; продовали мебель, торговались с хозяином дома; посылали в Чикаго телеграммы и письма par avion.

Когда, на вокзале Сен-Лазар, они посадили Тасю в вагон, когда поезд, наконец, тронулся, — Бураев почувствовал глубокое удовлетворение: дело их, трудное и хлопотливое, но, несомненно, доброе, — было сделано.

Он сказал это Кобре.

— Да, конечно, — согласилась она с всегдашней флегмой, — тем более, что у Волчанского на Кубе жена.

— Жена?! Вот мило! Так он еще и женат?

— Он в разводе. Жена очень богатая теперь: у ее второго мужа там сахарные плантации. Он его и выписывает.

— Тася об этом знала?

— Конечно, знала. Помните он про негров-то рассказывал?

После отъезда Таси, Бураев иногда заходил к Кобре: совместные хлопоты и старания их сдружили. Она показывала ему получаемые из Чикаго письма. Тася жаловалась на скуку, на то, что муж ее не понимает, что не с кем слова сказать. Вспоминала о «парижских вечерах», которые представлялись ей теперь «прекрасным сном». В каждом письме спрашивала о Волчанском, где он, что делает, помнит ли еще о ней? По-

том письма стали реже; и, наконец, меньше чем через год, совсем прекратились.

В начале войны Бураев из Парижа уехал. След милой, наивной Кобры, к которой он, хотя и насмешливую, но искреннюю симпатию испытывал, — очень скоро навсегда для него пропал.

Прошло много лет. Война давно кончилась. Бураев был опять в Париже. И вот однажды, на террасе café de l'Opéra, он заметил, за одним из столиков, плоское и бесцветное, как блин, лицо. Оно показалось знакомым, не мог только вспомнить, — кому принадлежит. Лицо улыбнулось широкой, растягивающей его, чисто американской улыбкой: «Ах, Боже мой, — Корзит!» Бураев подсел к нему, и узнал, что он прилетел в Париж на самый короткий срок, однако, — со всем семейством.

— У вас уже целое семейство?

Корзит показал растопыренные пальцы своей широкой руки.

— Как? пять человек детей? — Бураев вспомнил пророчество Волчанского о «Корзятах».

Тот захохотал:

— Ну, не так скоро! Дайте срок. Будут, будут! Но пока всего трое. Четвертого ждем. Пятеро, считая меня с женою.

Бураев осведомился, как поживает жена.

— Превосходно! — сказал Корзит. — Не узнаете: такая хозяйка стала! Заходите, прошу.

Он подал ему огромную карточку; не визитную, а рекламную фирмы.

На другой же день Бураев отправился полюбоваться семейным счастьем Корзита, одним из устроителей которого он мог считать и себя.

Корзиты занимали два номера в хорошем «комфортабельном» отеле. Тасю, действительно, не узнать было. Она очень пополнела. От прежней поэтичности — и следа не оставалось. Удивило Бураева сходство с мужем, которое у нее, как это ни странно, появилось. Она встретила его приветливо, но без

особой радости: парижские воспоминания для нее, повидимому, давно уже не существовали.

Дети — трое мальчиков — все удались в отца: ширококостные крепыши, с довольными, смышленными и вместе — ограниченными физиономиями.

— Вот, — первенец мой, рекомендую! — сказал Корзит, взяв старшего мальчика сверху за голову, и поворачивая ее, как гайку. — В меня пошел: изобретатель будет. Другие двое еще малы, но, думаю, будет толк и из них. Мы, Корзиты, все — люди дела. Я вам про себя скажу: для меня жить — это значить работат. С четырнадцати лет сам на собственных ногах.

Бураев взглянул на Тасю. Она слушала самодовольные разглагольствования мужа — с явным сочувствием. В ответ на его взгляд, она тоже на него посмотрела. Он понял, что мужем своими она гордится, и что она счастлива, совершенно счастлива.

Улучив минуту (Корзит доставал какие-то чертежи, которые непременно хотел ему показать), Бураев спросил:

— А помните наш кружок «Космические Проблемы»?

— Да, — ответила она, снисходительно улыбнувшись, — какое ребячество все это было!

— Вы с Коброй еще переписываетесь? Где она теперь?

— С кем? — переспросила она, не сразу поняв. — Ах, да, с Коброй. Нет, давно не переписываюсь. Ничего о ней не знаю.

Бураев, зорко на нее глядя, сообщил, что Волчанский, как он недавно узнал, все еще на Кубе находится.

— Да? — произнесла она равнодушно. Потом с беззлобной насмешкой прибавила: — Небось и там, все по-прежнему, лекции читает.

Корзит перебил их разговор и стал показывать гостю чертежи изобретенного и запатентованного им довольно сложного холодильного аппарата.

Возвращаясь от Корзитов, Бураев, с невеселой усмешкой, думал о тщете всех наших дел. В особенности — добрых.

« если кто из мертвых придет... »

В последнем классе лицея Мишель уроками кое-что уже зарабатывал. Теперь, сдав башо и поступив в Техническое, он делал научные переводы; часто ночи над ними просиживал: старался как можно меньше брать у дяди.

Щепетильность племянника в денежном отношении Острогалову очень нравилась. Старый холостяк, вечно занятый homme d'affaires — детям своего покойного брата много внимания уделять не мог, да и не хотел. Но он был доволен обоими. Верочке, правда, несмотря на все ее старания, даже сертификата начальной школы так и не удалось получить. Зато она усердно помогала теперь своей тете, жившей с ним старшей сестре его, которая вела хозяйство. «Ну, и характер у Верочки спокойный, покладистый. Оба, слава Богу, не в маменьку вышли».

Мишелю хотелось одного: скорее стать на ноги, чтобы им с Верочкой ни от дяди, ни от матери не зависить. Матери хорошо бы даже, хоть немного, но регулярно высылать. Она ведь часто говорила о том, сколько они с Верочкой ей стоили.

Думал он о матери с горечью: не так был устроен, чтобы забыть пережитое. Каждое чувство — злое, как и доброе — войдя в него, долго там оставалось, долго его мучило. Доброе даже сильнее, чем злое.

А Верочка помнила только хорошее. Ее мечтою было — жить им опять вместе с матерью. Она часто заговаривала с братом о их счастливом детстве в Париже, до войны.

— Что ты можешь помнить? — возражал Мишель. — Тебе и пяти лет не было.

— Нет, я помню. Какая она тогда красавица была! Мы называли ее «мама-светик»... Заутреню на Подворье помню... Там в саду пестрые фонарики горели... Особенно ясно помню, как она перед плащаницей стояла и плакала. Навзрыд плакала, точно на похоронах самого близкого.. Горячо она тогда веровала!

«Тогда!» — хмуро думал Мишель. — «Куда же *потом* эта горячая вера девалась? А если она ее сохранила, — как же могла так поступить с единственным человеком, который нас всех троих по-настоящему любил?»

Раз, с присущей ему в иных случаях жестокостью, он сестру прямо об этом спросил. Верочку его вопрос опечалил:

— Ты о Бергштейне? Я знала, что это тебя мучит. Ты очень его любил; я — тоже. Но говорить не будем: молиться надо.

— Я молюсь, — мрачно произнес Мишель. А сам подумал: «Заставлю себя молиться, хотя совсем не уверен, что это имеет какой-нибудь смысл».

О Бергштейне они потом никогда уже между собой не говорили. Мишель вспоминал один:

Военные годы... Как все тогда изменилось! Все, — начиная с «мамы-светика». Она стала нервна, раздражительна. В вечной тревоге находилась. По целым часам оставляла она их одних в запертой квартире. Сквозь переплет наклеенных на стекла бумажных полосок, они смотрели в окно, не увидят ли ее в конце улицы, возвращающуюся с кем-нибудь из знакомых.

Вечерами, задернув занавески, они сидели в темноте: если снаружи увидят свет, опять станут стучать и ругаться. А то вдруг — сирены начинали выть, за ними — соседская собака. Срывая на бегу с постели подушки, они бросались в угол, за шкаф. Там, тесно прижавшись друг к другу, с подушками на головах, они дрожали от страха, но никогда не плакали.

Плакать полагалась только ей. Они и все ее знакомые боялись, как бы ее чем-нибудь не довести до слез. Она пла-

кала, — вспоминая прежнюю «красивую жизнь». Плакала, — если ей «пророческий кошмар» снился; жаловалась в этом случае на Бога. Но очень часто плакала она и просто оттого, что Ивану Сергеевичу не удалось достать для нее масла, или — что сахар-песок стал какой-то коричневый и мокрый.

Шума немецких авионов она не могла выносить. Начиналась истерика, и тогда Иван Сергеевич, или Костя, или другой из знакомых, кто тут случался, успокаивал ее, давал пить капли.

На Мишеля и Верочку никто не обращал внимания. Мишелю казалось, что они всем, прежде всего, — матери, надоели и мешают. Один Бергштейн шутил и играл с ними; приносил леденцы, рассказывал смешные истории. Но Мишель любил Бергштейна не за гостинцы, не за рассказывание историй. Он любил его, как обыкновенно любят дети, просто — «так», сам не зная, почему. Любил его худое выразительное лицо с резким профилем; его манеру говорить «Ну, и что?» Даже запах бергштейнских папирос, — хотя он курил обыкновенные «Гольуаз» — казался особенно приятным.

К этому времени Мишель, если не понял, то чутьем угадал, что мать ни его, ни Верочки не любит. Бергштейна она тоже не любила.

«А он любил ее», часто думал теперь Мишель. — «Очень глубоко, и ничего не требуя. Я и тогда это чувствовал».

В маленьком городке, под Парижем, где они тогда жили, — в лавках, в очередях, на базаре, давно уже поговаривали о приходе немцев. Соседи одни за другими куда-то уезжали. Бергштейн, живший рядом, в отеле, упрашиал ее тоже скорее ехать. Брался все устроить.

— Ах, нет, Бергштейнчик! — отвечала она жалобно. — Я боюсь. А вдруг — бомбардировка.

— Ну, и что?

— А мы — на дороге, и спрятаться некуда. Нет, подождем еще.

— На меня же потом пенять будете, — говорил он сердясь. Иногда грозил, что уедет один. Но она, разумеется, не верила.

Город был окутан не то — дымом, не то — страшно густым туманом. Проходило множество солдат, раскрашенные зелеными и коричневыми разводами танки; автомобили, сверху утыканные ветками. По главной улице, в клубах этого дыма, непрерывной вереницей, все в одном направлении, шагали измученные лошади, тащившие грубые телеги на высоких колесах. В телегах, огромной кучей, был навален и прикручен веревками домашний скарб: кухонные шкафы, матрасы, ведра, детские стульчики, клетки с птицами. Иногда, тут же примастившись, сидела старуха с грудным ребенком. Растрепанные, кое-как одетые женщины, волоча за руку детей, шли рядом.

Потом, вдруг, все это куда-то исчезло. Стало пустынно и тихо. Город — точно вымер. Обнюхивая не убираемые больше отбросы, — бродили голодные собаки. Другие — выли и скреблись в оставленных квартирах. За витринами запертого цветочного магазина — блекли экзотические растения; и выпущенные из клеток канарейки — перепархивали с крыши на крышу.

В сумерки, спешным шагом, прошел мимо их окон большой отряд чернокожих солдат. Ночью они слышали близкие взрывы и, по временам, ружейные выстрелы.

А на утро, очень рано — они еще спали — прибежал весь в поту, запыхавшийся Бергштейн. Они, все трое, в пижамах выскочили ему навстречу. В руках у него был длинный хлеб, незавернутые банки с консервами; за спиною рюкзак. Заикаясь от волнения, он сказал, чтобы они скорее одевались: надо сейчас же ехать. Бросился в комнаты, достал чемодан, и стал совать в него, как попало: одеяла, алюминиевый чайник, подушки, платье.

— Скорей, скорей! — торопил. — Давайте самое необходимое! Один шофер согласился всех нас взять.

— Бергштейнчик, ради Бога, — мешая ему укладываться, умоляла она, — куда же вы мою блузку пихаете? Вы ее измяли! Зачем спешить? Подождем хоть до завтра.

— Ни одной минуты нельзя ждать! — перебил он в отчаянии. — Как вы не понимаете: город сдают; полиция будет насильно всех эвакуировать; об этом плакаты расклеены. Одевайтесь же! «Не ела»? Ну, и что? С голода не умрете! Камион в девять часов уходит с площади.

— Камио-он?! — протянула она в ужасе. — Пожалуй еще — открытый? Все в повалку?

— Ну, — в повалку! Ну, и что? Одна с детьми здесь оставаться желаете?

Мишель и Верочка — непроспавшиеся, с всклокоченными волосами, босые — онемев от ужаса, наблюдали эту сцену.

— Ступайте одеваться, слышите! — кричал Бергштейн.

Зажав уши, она ушла в кухню:

— Нервы мои не могут вашего крика вынести! Я сказала — не поеду!

— Вы сумасшедшая! Я же всегда знал, что вы — сумасшедшая! Коли так, я ухожу. Пропадать, что ли, из-за ваших капризов?

Он, впрочем, не сделал ни шагу. А она, выбежав из кухни, крепко схватила его за обе руки. Будто надеялась удержать насильно.

— Нет, нет! — кричала истерически — вы меня не бросите! Это была бы такая низость!

— Вы же знаете, что мне невозможно остаться, — сказал он упавшим голосом.

— Ничего я не знаю! Разве я способна понимать? У меня мысли мешаются... Не могу я ехать, не в силах! Ради всего, что вам дорого, — останьтесь, Бергштейн!

Мишель, а за ним и Верочка, внезапно выходя из своей одурелой неподвижности, тоже бросились к нему, повисли на нем, и с плачем орали:

— Бергштейнчик, пожалуйста, пожалуйста, останься!

— Если вы теперь уйдете, — произнесла она со страшной угрозой, — я открою газ.

Бергштейн изменился в лице.

— Замолчите... Сейчас же замолчите! — приказал он отрывисто.

Она стихла. Мишель и Верочка — тоже. Он посмотрел на их несчастные лица. О чем-то думая, потрепал Верочку по головке. Потом решительным движением поднял ее на руки и, вытирая своим платком ее мокрую рожицу, уговаривающим тоном сказал:

— Ну, и что? Ну, и зачем плакать? Я остаюсь. Я же остаюсь!

Ни Мишель, ни Верочка тогда, конечно, не понимали, *чем* рисковал Бергштейн оставаясь. Но она-то — понимала. Много позже, когда она хвасталась знакомым, что Иван Сергеевич из-за нее с женой разошелся, а Костя, от несчастной любви к ней, покушался на самоубийство, она, между прочим, упоминала и о поступке Бергштейна.

Пришли немцы. Они оказались не такими страшными, как Мишель их представлял. Они ничего с ними не сделали, никуда их не потащили. Один офицер на улице даже заговорил с ним очень ласково и дал конфету. Жить продолжали попрежнему. Только есть все время ужасно хотелось: паренная брюква на обед и на ужин. Потом, — эти хлебные тикеты еще! Мишель должен был носить их в самые дальние булочные. Булочницы говорили, что они не годятся, отказывались брать; грозились Мишеля в комиссариат отправить. А *ее* все это ужасно расстраивало. Бергштейн приходил каждый день, утешал, уговаривал, давал пить капли; на взволнованные жалобы и выкрики — отвечал обычным своим «Ну, и что?» Потом завелись у него с нею какие-то секреты. Мишеля и Верочку она выгоняла в кухню, или при них подолгу озабоченно с Бергштейном шепталась. С ним она постоянно ссорилась, их — то и дело ругала, даже била. А Бергштейн, хотя и казался чем-то очень встревожен, по-прежнему шутил с Мише-

лем, поднимал Верочку над своей головой и высоко подбрасывал, так что она от восторга визжала.

Но Бергштейн стал ходить все реже. Раз Мишель заговорил о нем с ихней femme de ménage. Когда та ушла, мать очень строго сказала:

— Не смей ни при этой женщине, ни при ком другом называть его фамилии!

Как-то, поздно вечером, постучали к ним в дверь. Это был условленный стук Бергштейна. Мишель, обрадовавшись, бросился отворять. Но она отащила его прочь, и приказала им обоим идти в кухню. Верочка послушно ушла, а Мишель остался.

Она не дала Бергштейну войти, остановила в передней.

— Как вы смели, как вы смели придти ко мне с этой ужасной звездой? — заговорила задыхающимся шепотом.

Тут только Мишель заметил на пальто Бергштейна, с левой стороны, довольно большую, похожую на елочное украшение, желтую звезду. Мишель подумал, что, раз эта звезда, которую Бергштейн неизвестно для чего нацепил, ей так не понравилась, он ее сейчас же снимет. Он ведь еще недавно пришел в новом галстухе и, когда она сказала: «Гадость!» — сделал вид, будто развязывает и шутил, что сию минуту выбросит. Но звезды Бергштейн не отцепил, и не стал шутить, что выбросит.

— Если вы *меня* не жалеете, то могли бы, кажется, хоть детей пожалеть! — продолжала она яростно шептать.

Он стоял неподвижно. Смотрел на нее с выражением, которого Мишель тогда не понял, но на всю жизнь запомнил. Особенно запомнил он две глубокие длинные борозды по обеим сторонам его рта, вдоль впалых щек.

— Бергштейнчик, ну вот вы и рассердились! — Она начала не громко всхлипывать. — Разве вы не видите, что я в отчаянии? Я страдаю за вас. Это — кошмар, это ужасно! Но что же я против этого могу сделать? Ради бога, ради всего на свете, — поймите меня, Бергштейн!

Она бросилась обнимать его. Он осторожно снял со своих плеч ее руки, и, удерживая в своих, тихо, очень ласково сказал:

— Успокойтесь! Ну, что?.. Я же понимаю.

Потом крепко их пожал и, не простившись с Мишелем, нарочно избегая на него смотреть, вышел.

Больше Бергштейн ни разу не приходил к ним.

Как только кончилась война, Мишель и Верочка были отправлены к Острогаловым. Она очень торопилась сделать это. Мишель никогда не мог понять — почему. Она уверяла, что у нее, кроме пары бриллиантовых серег, ничего из ценных вещей не осталось. «Все проели» — говорила. Мишель не верил. Он ни в чем ей теперь не верил. Любить не перестал. Но это была какая-то нехорошая, злая любовь, ничего, кроме мучений, ему не приносившая: смерти Бергштейна он ей простить не мог. А что Бергштейн погиб в одном из тех ужасных концентрационных лагерей, про которые теперь так много чудовищного рассказывали, — он, поняв все тогдашнее, не сомневался. Память об этом «единственном любившем его человеке» — обратилась у Мишеля в своего рода культ. Иногда, вечером, чувствуя полную невозможность молиться, — подумает он о нем, и за упокой его все-таки перекрестится.

Пять лет, живя у Острогаловых, они не видали матери. Изредка получали от нее открытки. Дяде она писала: у нее были с ним постоянные денежные дела и счеты. После получения ее писем, Острогалов бывал не в духе.

Перед Новым Годом пришло от нее длинное, ласковое и очень грустно письмо Мишелю и Верочке: Ей тяжело, она так одинока. Нервы расстроены, мучат страшные мысли о том, что Бога — нет... Жизнь опостылила... Ужасно тоскует по милым деточкам. Надеется, что и они не совсем забыли свою бедную мать. Ну, да вот теперь она скоро к ним приедет!

Читая это письмо, Верочка плакала. На Мишеля оно тоже сильно подействовало: не слишком ли беспощадно судил он свою бедную мать? Судьба ее сложилась нерадостно. Брак

без любви. Раннее вдовство: осталась с маленькими детьми, в чужой стране. Постоянный страх, что продешевит свои бриллианты, что валюта падает, что те, кому она доверилась, сделают неправильные биржевые операции; или — что Острогалов, при рассчете, ее обманет. А потом — война, лишения... Беспомощная, как ребенок, она боялась жизни. Страстно хотела жить, — и не решалась. Мешали ей в этом и подраставшие дети. Перед отъездом из Парижа, Мишель подслушал, как она говорила своей приятельнице Капе: «Я не жила, ты же знаешь! Личной жизнью я пожертвовала ради детей». Ради детей, да еще — нелюбимых. Какая безрадостная, тяжелая жертва. И вот, теперь оказывается, что кроме этих нелюбимых детей — у нее ничего нет!

Из нескольких вскользь сказанных слов дяди, он, однако, понял, что едет она не для того, чтобы повидаться «с милыми деточками», а к нему, по делу. «Значит, — опять ложь?» — подумал Мишель. Верочка с нетерпением ждала приезда «мамы-светика», а его чувства были противоречивы, самому ему не ясны.

Наконец, — она приехала. Они не ожидали увидеть ее все такою же молодой и красивой. Ей было верных пятьдесят, а на вид — тридцать: цвет лица по-прежнему прелестный, в легких локонах — ни седого волоса. После уж, Мишель разглядел, что моложавость лица достигается тщательной разрисовкой, а волосы — другого цвета, чем они у нее были. Это ему не понравилось. Встретилась она с ними тоже не так, как можно было ожидать по письму.

— Вот вы какие большие выросли! — удивлялась далеко не радостно. — Мне даже не верится, что вы — мои дети! В Париже все думают, что вы у меня совсем еще маленькие.

Они ее собою оба, видимо. разочаровали. Раз, скоро после ее приезда, она вместе с Верочкой собиралась в гости. В открытом светлом платье, при вечернем освещении, она была очень интересна. Посмотрев на Верочку, с отчужденным сожалением, сказала:

— Плоская, как доска. Вся в острогаловскую семью.

Верочка не почувствовала обиды. За сестру почувствоал ее Мишель: он ведь и сам болезненно сознавал, что оба они с Верочкой некрасивы, неинтересны, лишены каких бы то ни было талантов.

Ей, кроме того, было неприятно, что они, эти большие дети, — выдают ее возраст. Когда она раз гуляла вдвоем с Мишелем, какой-то подвыпивший француз, приняв Мишеля за ее ami, отпустил на их счет шутку. Мишелю это показалось ужасным. А она с самолюбивым удовольствием всем потом рассказывала.

Часто бывала она не в духе, целый день не выходила из своей комнаты. Потом вдруг оживала, шла в гости, или к себе сзывала, пела, стихи декламировала. И тут, как в прежние годы, даже ярче прежнего, обнаруживались в ней необыкновенные, другим несвойственные переживания. Она приходила в восторг, в настоящий экстаз, когда видела закат, или луну, отраженную в какой-нибудь луже. Иногда этот восторг вызывала в ней простая ветка мимозы, которую она на базаре купила. Как интересно и образно умела она рассказывать о чем-нибудь ее поразившем. Какое у нее бывало вдохновенное лицо, когда запускали русские диски. «Слушать родные голоса» — она это называла.

Все, даже старая острогаловская тетка, восхищались ею. Только сам Острогалов не поддавался ее шарму. И это заметно ее сердило.

А Мишель становился в тупик перед противоречивостью ее характера: то — поэтична, мечтательна, а то — (особенно — выпив лишний стакан вина) вызывающе хохочет, сомнительные анекдоты рассказывает.

Как-то вечером, возвращаясь из гостей, он ее довольно резко за это упрекнул.

— Ты прав: я вела себя, как беспутная, — призналась она с подкупающей непосредственностью. — Это — от тоски. Ах, Мишель, я очень нечастна! Никому я не нужна, сама себе противна. Иногда думаю: открыть газ — ведь это так просто.

Отец Родион говорит — грех. А, может быть, нет никакой загробной жизни? Тогда зачем мучиться?

«Зачем, в самом деле?» — подумал Мишель. — «Все ложь, бессмыслица. Все одинаково несчастны».

— Я был несправедлив к тебе и груб, — сказал он с раскаянием. — Прости меня, мама!

Она тут же, на улице, обняла его и крепко поцеловала.

Через несколько дней, кончив свои дела с Острогаловым, она уехала. Прощаясь с детьми на вокзале, плакала, часто их крестила. Все повторяла, что просит их молиться за свою несчастную мать, потому что у нее самой «и молитв уже никаких нету».

Не успела жизнь в доме Острогаловых пойти прежним порядком, как «мама-светик» приехала вторично. На этот раз совершенно неожиданно: телеграмму получили только накануне, поздно вечером.

Мишель, один, встретил ее на вокзале. Она бросилась ему на шею и, обливаясь совсем другими, чем прежде, новыми, радостными слезами, долго не выпускала из объятий.

— Мишель, мальчик мой, если бы ты знал, как я счастлива!

Они стояли перед вагоном, загораживая другим дорогу.

— Отойдем, мама: мы мешаем.

«Что с нею? Что могло за этот короткий срок случиться?» — думал Мишель.

Сели в такси.

— Ты счастлива, мама? Отчего? — спросил он грустно.

Она опять порывисто его обняла. Мокрое от слез лицо ее сияло.

— Отчего? Глупенький, глупенький мой мальчик, он ничего не понимает. Счастлива, что есть Бог, что Он меня, отчаявшуюся, пожалел. Счастлива, что я с тобою, что я могу сказать тебе, как я вас обоих с Верочкой — люблю, как сознаю мою страшную вину перед вами...

Он хотел возразить, она перебила:

— Нет, Мишель, молчи! Я знаю, ты утешать будешь. Это совсем не нужно. Я испортила твою жизнь, из-за меня ты таким букой-недоверчивым стал, но теперь все, все будет — другое! Ведь я заново родилась, пойми!

Дома, на скептические расспросы Острогалова, она, сразу переменив тон, сухо ответила, что приехала на этот раз не к нему, а к детям, всего на один день. А его она обеспокоит только самой маленькой просьбой, которую ему ничего не будет стоить исполнить.

Оставшись одна с Мишелем и Верочкой, она опять, и с тем же восторгом, повторила, что Бог ее пожалел, открыл ей глаза на то, какая она была ужасная грешница, какая эгоистка, бравшая любовь окружающих и ничего, ничего не дававшая взамен.

«Бергштейна вспомнила», — подумал Мишель. — «Запоздалое, ненужное теперь раскаяние». Но в глубине сердца он был ей за это «запоздалое раскаяние» благодарен.

А она, между тем, с жаром делала планы их будущей жизни. У нее уже все было обдумано и решено: Париж опостылил; в этот кошмарный город она вернется только для того, чтобы все там ликвидировать, и, самое большее, — на неделю.

— Найдем здесь квартиру на окраине. Или, лучше, маленький домик с садом. Разведем огород... Можно и кур, или кроликов... Ты, Верочка, будешь у меня хозяйничать. Мишелю, чтобы ему работать, устроим хорошую светлую комнату, не чулан, как у него здесь. Мне нравится этот город: какие чудесные окрестности! Я так люблю горные речки, водопады... прохладные, благоухающие долины... Как хорошо нам будет летом вчетвером гулять при луне.

— «Вчетвером»? — с удивлением переспросил Мишель.

— Разве я сказала «вчетвером»? — Она смущенно засмеялась. — Тебе послышалось: я сказала «вечером».

— Нет, ты сказала — «вчетвером».

Она опять засмеялась:

— Спорщик! Ну, будь по-твоему: вчетвером — так вчетвером! Может быть, кто-нибудь приедет к нам погостить! — прибавила шаловливо.

Верочка маминой оговорке большого значения не придала. Почему бы, в самом деле, кому-нибудь из знакомых мамы не приехать к ним гостить? Ее даже удивило, что Мишель это так странно принял.

После обеда Острогалов прослушал радио-информацию и стал прощаться.

— Вы уходите? — разочарованно протянула «мама-светик». — Вы не могли бы уделить мне сейчас одну минутку?

— Ах, голубушка, «минутки»-то у вас уж больно длинные, — сказал он, морщась.

— Да нет, два слова! — настаивала она. — Ведь я завтра уезжаю!

Он повел ее в кабинет.

«Минутка» длилась около часа. Острогалов вышел с таким видом, будто хотел сказать: «Я привык ничему не удивляться, но это уж, ей Богу, слишком!» Она — вся красная, заплаканная — с недовольной, обиженной миной, за что-то его благодарила. Ни Мишелю, ни Верочке она о разговоре с дядей не сказала ни слова.

На другой день она не уехала. Утром просила Мишеля сходить в аптеку за ее каплями; к обеду не вышла. Верочке призналась:

— Я боюсь, просто боюсь вернуться в Париж.

— Чего же ты боишься, мама?

— Ах, Верочка, если бы ты знала! Если бы я могла все тебе сказать! Ведь меня там никто не понимает. Даже самые близкие, даже такой давнишний друг, как Капа. Она говорит, что все, что я теперь переживаю, это возрождение к новой жизни — больная фантазия, истерика. Да и все они то же самое говорят. Они могут меня поколебать, вот я чего боюсь.

— Разве ты не твердо решила бросить Париж? — с разочарованием спросила Верочка.

— Что значит — «твердо решила»? Я ничего не могу «твердо решить». Бог этого от меня хочет, — вот все, что я знаю. А хватит ли сил...

— Ты молись, чтобы дал, — посоветовала Верочка робко.

— «Молись, молись»! Ведь это — легко сказать... — Она закрыла лицо руками, с минуту сидела молча. — Да, ты, конечно, права, Верочка! А я — вздор говорю, не слушай меня! — сказала потом, внезапно горячо ее целуя. — Дочка моя дорогая, хорошая, как я тебе завидую!

Вечером этого дня Мишель долго гулял с нею вдвоем. Она была печальна, неразговорчива. Вдруг спросила:

— Мишель, ты веришь в телепатию?

— Он мрачно ответил, что вообще ни во что чудесное не верит.

— А я теперь знаю, что человек любящий женщину, может почувствовать, что ей грозит гибель, хотя бы их разделяли тысячи километров. И помочь может! — сказала она вдохновенно.

«Неужели»?... — в радастном волнении подумал Мишель. — «Нет, то, что пришло мне в голову, слишком необыкновенно...»

— В чудесное надо верить, Мишель! — словно угадав его мысль, продолжала она с жаром. — Надо, надо! Иначе — пропасть, нравственная смерть... Гони от себя сомнения. Они и на меня постоянно находят. Особенно — если начинаю, вместо Бога, — людей слушать. Каждый раз, когда расскажу кому-нибудь, как это перерождение со мною случилось, — раскаиваюсь. После той ночи, утром, сразу побежала к отцу Родиону, все ему, как на исповеди, выложила. А он сказал, что это — искушение. «Вы, говорит, находитесь в прелести: настоящие чудеса только со святыми случаются». Почему — «только со святыми»? Разве Бог не может пожалеть бедную грешницу?

— С тобою чудо случилось, и ты не хочешь сказать мне? — упрекнул Мишель.

Она ласково взяла его под руку:

— Не сердись! Отец Родион взял с меня слово, что я ни тебе, ни Верочке ничего не скажу, пока достоверно не подтвердится. что тут не «искушение», а реальная Божья милость.

За вечерним чаем ей подали телеграмму. Она, не вскрывая, ушла с нею к себе. Вернулась в столовую расстроенною. Посидев, будто нехотя, сказала:

— Я завтра уезжаю.

При отъезде еще раз повторила, что долго в Париже не останется. Мишеля и Верочку, даже тетю, просила разузнать у знакомых или по объявлениям в местной газете, не сдается ли в окрестностях что-нибудь подходящее. Уехала опять, как и в первый раз, со слезами и просьбами за нее молиться.

Почти одно за другим пришло от нее два письма Острогалову. Потом она написала Мишелью, прося узнать, получил ли дядя их и почему не отвечает.

— Чистое наказание с вашей матерью! — сказал Острогалов, когда Мишель передал ему ее вопрос. — Не рад, что связался. Напиши ей, что, когда придет ответ, — извещу.

«Ответ»? — подумал Мишель. — «Неужели это связано с тем, о чем она тогда говорила?»

— И чтобы, пожалуйста, она мне больше не писала: ведь наизусть всю историю знаю! — продолжал Острогалов. — Не то, что — отвечать, я и читать-то эту чепуху на четырех страницах не имею времени. Так и напиши!

Смягчив слова дяди, Мишель написал. Упрекнул ее при этом, что с дядей она откровеннее, чем с ним. Она ничего не ответила. Письма ее сделались реже, и как-то торопливы. В них начала чувствоваться растерянность. Про «новую жизнь» писала неопределенно: «Задерживают разные дела»... «Многое еще надо обдумать...» «Большие затруднения с деньгами...» Потом проскользнула странная фраза: «Была у доктора; советует лечиться психоанализом».

Прошло уже больше месяца с ее отъезда, а она все еще не возвращалась. Как-то, во время ужина, Острогалов, посмотрев на племянника, многозначительно сказал:

— Зайдешь потом ко мне.

Мишель переглянулся с Верочкой.

Когда он вошел в кабинет, дядя, без приготовлений, начал:

— Послушай, Мишель, скажи мне, пожалуйста, в каких, собственно отношениях была твоя мать во время войны с этим — Бергштейном?

Мишель внутренне дрогнул: мог ли он ожидать?

— Вы узнали что-нибудь о Бергштейне? Он жив? — спросил он быстро.

— Нет. И я затрудняюсь, как ей это сообщить. Но ты не ответил на мой вопрос.

«Бергштейна нет в живых», — думал Мишель. — «Я ведь знал это. Если знал, — почему, когда она сказала «вчетвером» и когда о телепатии говорила, — я представил себе его?»

— На какой вопрос? — спросил он машинально.

— В каких отношениях находился он к твоей матери.

— «В каких отношениях»! Был влюблен. Как другие. Нет, — иначе: он любил ее.

— А она?

Мишель нахмурился: «К чему эти расспросы?» — подумал.

— Равнодушна, как и ко всем.

— Равнодушна? Ты уверен? В таком случае я уж решительно ничего не понимаю! Ну, а близость — я разумею физическая — была?

— Неужели вы так мало ее знаете? Она и в молодости отвращение чувствовала. Отец, она говорит, называл ее снегуркой.

— Вот что? Она тебе это говорила? — как о чем-то забавном, осведомился Острогалов. — Это, впрочем, несущественно. Денежные отношения, разумеется, были?

«Зачем ему это?» — недоумевал Мишель.

— Бергштейн, пока мог, давал ей: она не хотела продавать серьги.

— «Свои последние серьги»? — Острогалов усмехнулся. — Так ты уверен, что не он ей остался должен?

— Никогда он ничего у нее не брал, никогда! Я за это жизнью ручаюсь!

— Я охотно тебе верю, — успокаивая, сказал Острогалов. — Тем более, что мой знакомый тоже отзывается о нем с глубокой симпатией. Все эти, возмущающие тебя предположения, я делаю только, чтобы понять, зачем он ей вдруг так понадобился.

— Она говорила вам о нем? — с удивлением спросил Мишель.

— Это, видишь ли, большой секрет от тебя и от Верочки. Но тебе, по-моему, необходимо знать. Она принялась его разыскивать. Просила ей помочь. «У вас», она мне говорит, «большие связи с русскими в Германии». «Мне *необходимо*», говорит, «найти его. Он жив, это я наверно знаю».

— Но ведь вы сейчас сказали, что он умер, — начал Мишель. — Откуда же?...

— Откуда она взяла, что он жив? — перебил Острогалов. — В этом-то, понимаешь, все и дело. И я, и тетя — за твою мать боимся, Мишель: она всегда была со странностями, но в последний свой приезд она произвела на нас обоих впечатление совершенно уже ненормальной. Впрочем, суди сам. Вот что (опять под страшной тайной) рассказала она мне в объяснение своей просьбы найти его. Потом она еще в письмах почти слово в слово тоже самое повторяла. Вернувшись раз, чуть ли не на рассвете, с пирушки у какой-то приятельницы, где было, очевидно, порядочно выпито, она, в отчаянии от себя, от своей беспутной жизни, — решилась сейчас же открыть газ. До кухни она, по счастью, не дошла, повалилась на диван и заснула. И вот — видит она себя «как будто наяву» в своей кухне, перед газовой плитой. Она поднимает руку к крану, поворачивает... Слышит шипение выходящего газа, даже запах обоняет... Ее охватывает ужас смерти. Паль-

цы еще держат кран, стоит сделать движение... Но она *не в силах* его сделать. И вдруг чувствует, как чья-то рука ложится на ее руку и, крепко сжав, принуждает повернуть кран. За своим правым плечом она видит человека, «когда-то беззаветно ее любившего», но о котором она, по собстенному признанию, «и думать забыла», — этого самого Бергштейна. Он смотрит на нее с «невыразимой печалью в глазах» и говорит: «Сейчас же поезжайте к детям. Живите — для них». Она — все во сне — начинает плакать, прижимается к его груди и шепчет: «Пожалейте меня, Бергштейнчик, не оставляйте. Без вас — я пропала». И слышит ответ: «Не бойтесь: вместе будем». Тут она «в никогда не испытанной радости» просыпается. Просыпается — на этом она настаивает особенно — совершенно преображенной, неспособной грешить, готовой, при его поддержке, начать новую жизнь. (Из слов «вместе будем» она, видишь ли, вывела, что он жив). Она благодарит Бога, молится, дает обеты... Это все очень, конечно, хорошо и даже — похвально, — с невольной злой насмешкой перебил себя Острогалов. — Но что же, в этом якобы преображенном состоянии предпринимает она утром? Утром она бежит к гадалке (на ее жаргоне — к ясновидящей). Гадалка подтверждает, что он жив, спасся каким-то сверхестественным образом, и что она скоро с ним соединится. Все это, как всякий нормальный человек мог предвидеть, — оказалось вздором: вот, я только что получил ответ, — он взял лежавшее на столе письмо, — ее Бергштейн погиб тогда же.

— При каких обстоятельствах? — глухо спросил Мишель.

Острогалов с изумлением констатировал, что рассказ, хотя и переданный им в ироническом тоне, — потряс племянника.

— Если непременно хочешь, — прочти, — сказал он, протягивая письмо.

Пока Мишель читал, дядя, не отрываясь, на него смотрел и продолжал недоумевать: этот всегда сдержанный мальчик — готов был разрыдаться. Кончив, Мишель сразу встал. Страшно бледное лицо его подергивала судорога.

— Оставьте мне это письмо, — попросил едва слышно. — И еще... Не можете ли вы, дядя, одолжить мне на самый короткий срок тысяч двенадцать?

Острогалов, хотя и не показал этого, удивился: сверх положенной ему суммы, племянник никогда ничего не просил.

— Я вам очень скоро верну, — по-прежнему не поднимая глаз, прошептал Мишель.

— Хорошо. Но на что они тебе, если не секрет? Уж не собираешься ли ты ехать к ней?

— Это необходимо, — тихо, но твердо ответил Мишель.

— Ты боишься, что известие о его смерти очень ее поразит?

— От этой поездки зависит вся наша будущность.

— Полно, Мишель! — Острогалов просто не мог придти в себя. — Ты, такой рассудительный всегда, должен же ты отдавать себе отчет, что ее разговоры о «новой жизни» нельзя принимать всерьез. С нею вообще никакая жизнь не возможна, ты же знаешь! И, извини меня, более чем странно видеть какую-то связь между вашей с Верочкой будущностью и тем, что могло присниться нервной даме, да еще — после весело-проведенной ночи!

Мишель слушал стиснув зубы, потупившись. Острогалов видел, что слова его только озлобляют племянника. Он перестал говорить, подумал. Отпер ящик стола и молча вручил ему требуемую сумму.

От дядя Мишель хотел прямо пройти к Верочке: она ждала его. Но нет, надо было хоть немного побыть одному.

«Так вот что с нею случилось! Вот кому обязана она своим перерождением. Он продолжает любить ее и там. Ей дано было почувствовать его любовь, когда, в последнем отчаянии, она решилась на тот непоправимый страшный шаг... «После весело проведенной ночи»? Ну, так что же? «Разве Бог не может пожалеть бедную грешницу»? Да, Он пожалел ее. Всех нас пожалел. Тут сомневаться нельзя. Если бы оставалась хоть тен сомнения, — последняя фраза письма (приписка сбоку, на полях) ее бы уничтожила. Писавший (бир-

жевик какой-нибудь, вроде дяди) сделал эту приписку «просто — так», сам не зная зачем. Какую цену приводимый в ней факт мог иметь в глазах такого человека? Приписка была нужна — мне. И вот, чудесным образом, через людей к происходящему с нами — совершенно непричастных, она дошла до меня».

Верочка, увидав в каком он состоянии, испугалась. Он передал ей, что узнал от дяди и из письма. Самого письма не показал: страшных подробностей пребывания Бергштейна в Дахау — Верочке не для чего было знать.

— Необходимо повидаться с нею, — сказал он кончив.

— Бедная мама! — грустно промолвила Верочка. — Она убеждена, что он жив, что сон ее сбудется.

Мишель посмотрел на нее странным взглядом:

— Сон несомненно сбудется. Хотя иначе, чем она думает.

— Как? Но ведь Бергштейн умер?

— Да, умер. Но если смерть — не конец? Если любившие нас *здесь,* продолжают любить и *там*? Если от нас зависит не порывать с ними?..

Эта простая мысль поразила Верочку.

— Ты поедешь? — спросила она после недолгого молчания.

— Завтра же. Я уж и деньги у дяди занял.

Он хотел идти, она удержала его:

— Ясновидящая, однако, ошиблась, — сказала, усиливаясь что-то понять.

Мишель пожал плечами:

— Шарлатанка, как большинство из них. Зачем было обращаться к гадалке? Ведь он сказал ей, он нам всем троим сказал, что мы должны делать. Остается — исполнять.

Мишель знал, что не заснет. «Молиться надо. Почему, даже теперь, после всего случившегося, я не могу молиться?» Возраставшая тревога — мешала думать. Взял Евангелие (к этому способу успокоения он часто прибегал); открыл наудачу. С трудом удерживая внимание, начал читать.

Во втором часу ночи к нему слабо постучали. Подумал, что ослышался. Верочка приотворила дверь. В своем просторном халате она производила впечатление странно-маленькой и жалкой.

— Ты не спишь? Я тоже не могу. Не езди, Мишель! — заговорила она умоляюще. — Не езди! Мне так страшно. Я чувствую, — тебе не надо ехать!

— Почему?

— Не знаю! Не езди! Раз он умер...

— Да, Вера, ты права, тут много мужества нужно. Но я должен ехать: общение с умершими...

— Это грешно! — перебила она быстро и строго.

Мишель опустил голову.

— Грешно? Может быть. Но если иначе нельзя? Ей нельзя иначе, Вера. И мне нельзя.

Стоя друг против друга, один на другого не глядя, они долго молчали.

— Апостол Фома влагал персты в раны Христовы, — внезапно охрипшим голосом начал Мишель, — это тоже грешно. Но Господь простил ему.

Он взял в руки Евангелие. Верочка подумала, что он хочет прочитать ей это место. Но он, не раскрывая, держал его прижатым к груди. Смотрел на нее странно-сияющими глазами:

— Перед своей мученической смертью — Бергштейн крестился.

Дать матери телеграмму Мишель не захотел. Почему — не знал сам. Действовал по какому-то вдохновению. В безошибочность этого вдохновения слепо верил.

Выехал он около полудня. Сидя в вагоне, сосредоточенный на одном, не замечал, как проходило время. А оно, в противоположность тому, что обыкновенно при напряженном ожидании бывает, — неслось страшно быстро. Дома он не позавтракал. В поезде был вагон-ресторан, но ему за весь день в голову не пришло что-нибудь съесть. Ни голода, ни устало-

сти от бессонной ночи он не чувствовал. Даже пить не хотелось. Только лихорадочно курил папиросу за папиросой.

Вечерело. За окном уже проносились, как попало выстроенные, то большие, похожие на коробки, то старые одноэтажные дома бедного предместья. Мишель заметил молодое ярко-розовое персиковое деревце. Оно щедро расцвело на задворках какой-то фабрики. Кругом — ржавые трубы, старые бидоны из-под бензина, груды шлака, мусор. А деревце — великодушно не замечает всей этой грязи. Стало грустно: среди окружающего безобразия — чудесная красота его казалась такою незащищенной, такой хрупкой.

Около восьми часов вечера Мишель входил в многоэтажный дом, где она теперь жила. Из отворенной двери дохнуло на него нехорошим дыханием старых парижских домов. На этой квартире он не был. Сильно стучало сердце, когда взбежал на пятый этаж.

На двери, написанная ее быстрым почерком, записка: «Ключ под ковриком».

«Какая досада! Ждет Капу, побежала поскорее что-нибудь для нее купить. Придется провести весь вечер с этой отвратительной особой». Достал из-под пыльного коврика ключ, отпер. Подумав, сунул его обратно. И записки не снял.

Войдя, нащупал выключатель, повернул. Прошел из маленькой передней в первую комнату. Так и есть, — ждет свою Капу: круглый стол накрыт на два прибора. Вино, закуски, апельсины. Рядом, в низкой вазочке, пучек темных фиалок. Красивое сочетание лилового с оранжевым. Все — со вкусом, как всегда у нее. На одном из приборов лежала несвернутая записка. Он машинально прочел:

«Не сердись, золото мое, что ушла. Страшно задержалась у доктора. Он мне очень помогает разбираться в моих переживаниях. Никакая тут не телепатия, а просто — психопатия. «Бросьте», — говорит, — «а то — с ума сойдете». Даже напугал. Сейчас, хотя и поздно, несусь к Капе. Надеюсь, что еще застану там Жожо: он обещался принести всю

сумму. Только ведь он, ты знаешь, даром ничего не делает. Раньше десяти меня не жди, не успею. Видишь, я купила для тебя все, что ты любишь. Закуси, выпей, Антоша милый! Твоя Рита».

Мишель долго неподижно смотрел на записку. «Антоша милый»... Что же это такое? Боже мой, какой он дурак был! Какой ничего не понимающий дурак! Ведь он видел, с детства видел этих постоянно сменявшихся вокруг нее мужчин. И они с Верочкой могли думать, что тут — платоническое обожание! А *то... то,* из-за чего он приехал, — «психопатология». От этого — лечиться надо. «Нервной даме в нетрезвом виде пригрезилось»... Хорош и он, что поверил! «Общение с умершими»... «Новую жизнь начнем»... Новую жизнь с нею, с этой лживой, развратной женщиной? «Жожо» какой-то, который «ничего не делает даром», «Антоша»...

«Он сейчас придет!» — вспомнил он с ужасом. Поскорее сунул записку в карман. Плана у него не было никакого. Откуда мог бы у него взяться план? Но терять времени не приходилось.

Он быстро обошел обе комнаты. Заглянул в ванную, в кухню. Положительно ни одного угла, где бы можно было спрятаться. Впрочем, зачем ему прятаться? Прятаться хорошо тому, у кого в кармане револьвер. Револьвера у него нет. Его месть должна быть другою.

Он опять вышел в первую комнату. Зажег все четыре лампочки верхней люстры. В большом зеркале над камином — ярко освещенная белая скатерть; фиалки, апельсины; разной формы и размеров бутылки; красиво сервированная закуска. В стороне от стола — широкий диван, покрытый золотистым плюшем. Посреди всего этого — бледный, давно не бритый молодой человек в потертом пальто. Если показать на экране, — зрители сразу поймут, что гость незванный, непрошенный. Что этот ужин и диван — не его дожидаются. Да, фильм. Фильм и есть. Так пусть и дальнейшее все будет фильмом.

Мишель поправил перед зеркалом галстук, волосы. Лица поправлять не пришлось. Оно было то самое, какое нужно: холодное, бесчувственное. Оно и испугало его, и обрадовало.

Снаружи вставляли ключ. «Это не она: для нее рано. Он!» Сел в кресло, высоко закинул ногу на ногу; вынул папиросы. В голове одна мысль — остаться победителем.

Он увидел входящего раньше, чем тот — его: широкий в плечах, плотный; в слишком длинном пальто.

— Ты дома? — удивленно окликнул гость. Не получая ответа, шагнул в комнату. Тут, увидав Мишеля, остановился в недоумении. Кто это? У случайно зашедшего знакомого не могло быть ни такой позы, ни такого выражения.

— Здравствуйте! — произнес Мишель, равнодушно пыхнув дымом.

— Здравствуйте. — Тоном гость показывал, что, по его мнению, только он один имел право, в данную минуту здесь находиться. За Мишелем он этого права, во всяком случае, не признавал. Но Мишель был другого мнения. Невозмутимо, до дерзости, своего противника разглядывая, он продолжал курить.

Нет, случайно зашедший не стал бы себя так вести. Гость понял это теперь бесповоротно.

— Маргарита Павловна скоро вернется, не знаете? — Самым этим вопросом он признавал за Мишелем те права, в которых он ему только что отказывал.

— Понятия не имею, — ответил Мишель, сбрасывая пепел. — Между прочим, вы ключ из замка вынули?

— Я его опять под коврик положил.

Пришедший, занятый своими соображениями, начал медленно расхаживать взад и вперед по комнате. Это продолжалось довольно долго. Бессознательно следя за его механическим движением, Мишель вдруг почувствовал жестокую усталость. Окружающее сделалось безразличным. Путающиеся мысли никак не могли сосредоточиться на главном недоумении. Он сидел понурившись, едва ли помнил, где он и с кем.

— Послушайте, — говорила она вам когда-нибудь о Бергштейне? — поднимая голову, вдруг спросил странно доверчиво и тихо.

Гость, круто к нему обернувшись, остановился среди комнаты.

— О каком Бергштейне?

Мишель, как во сне, уставился на него невидящими глазами:

— Не говорила?.. Ну... все равно! — Неожиданно засмеялся. Коротко, неестественно, как плохой актер. — Нет, это я — так. Я что-то совсем другое хотел у вас спросить... Постойте, надо вспомнить. ...Ах, да, — записка! Ведь вас Антошей... вас Антоном зовут?

— Она мне записку оставила? — оживился тот.

— Нет, на словах. Она просила передать вам, чтобы вы уж лучше зашли к ней как-нибудь в другое время. — Мишель не спускал с него своего злорадно-торжествующего взгляда. Он снова вполне владел собой.

— А, вот что! — пробормотал тот, растерявшись. И вдруг багрово покраснел.

— Да, — продолжал Мишель с тою же наглой, вызывающей улыбкой. — Да, «вот что»! А от меня лично позволю себе прибавить вам совет, не приходить сюда вовсе. И, главное, не вздумайте дожидаться ее внизу: из этого ничего приятного для вас не выйдет. Вы меня поняли?

Из багрового тот стал землисто-бурым. Мускул на скуле выпятился желваком.

— Честь имею! — сказал Мишель, вскакивая и издевательски-церемонно раскланиваясь. У него было приятное сознание, что «крутит» он отлично.

Тот, не отвечая на поклон, отвернулся и пошел, было, к двери. Но *так* уходить показалось ему слишком нестерпимо. Он остановился; задыхаясь сказал:

— Я тоже позволю себе дать вам совет, молодой человек: не знаться в ваши годы с подобными женщинами. К тому же, — она вам в матери годится.

Он вышел, крепко хлопнув наружной дверью. Мишель не двинулся с места и продолжал курить.

«С подобными женщинами»! Ведь это — пощечина. Что ж, разве она не заслуживает? «Она вам в матери годится»! — произнес он вслух. И опять, как давеча, неестественно засмеялся.

«Она может с минуты на минуту войти!» — Его охватил страх. — «Встретиться? Нет, на это не достанет сил».

Быстро выхватил стило и, на обратной стороне ее же записки, не обдумывая, в злом вдохновении, написал:

«Антошу я сейчас отсюда выгнал. Он принял меня за соперника, в припадке ревности сказал: «Она вам в матери годится». Но он жестоко ошибся: знайте, что ни мне, ни Вере вы больше не мать. Знайте тоже, что Бергштейна в живых нет: он в газовой камере кончил. А кто его туда толкнул — спросите у вашей совести. Мишель Острогалов».

Он положил записку на прежнее место, рядом с нарезанной круглыми ломтиками ливерной колбасой. Глядя на эту колбасу, вдруг почувствовал мутящий сознание голод. Схватил кусок хлеба, густо наложил колбасы, съел. Потом — еще. Налил полный стакан из первой попавшейся бутылки. Разом выпил. Ел и пил с самому ему отвратительной животной жадностью. Вспомнил прочитанное недавно в газете: зарезав какую-то старуху, убийца тут же, в кухне своей жертвы, в присутствии трупа, — с аппетитом поужинал.

От выпитого вина стало жарко. Комната начала медленно кружиться. Вынул из кармана несколько стофранковых билетов и с мстительной радостью бросил на стол. В записке прибавил: «Деньги оставляю в уплату за съеденное и выпитое. С вами считаю себя в полном и окончательном рассчете».

Вышел из квартиры. Сорвал с двери записку, сунул в карман: «На память!» Медленно, ступень за ступенью начал спускаться. «Если встречу — пройду молча».

Внизу он сказал:

— Cordon, s'il vous plaît!

Дверь не оторилась. Тогда он — громче:

— Cordon, s'il vous plaît!

«А, чорт, веревки и той не допросишься! Хотя зачем Мишелю Острогалову веревка? Ему ведь, все равно, нельзя повеситься. Уж по тому одному нельзя, что он взял у дяди деньги, и должен вернуть».

Дверь ответила беззвучным сдержанным зевком. Он вышел, и осторожно, но плотно ее за собою затворил.

не так страшно

Кирюше уже семнадцать минуло.

— А давно ли, вот этакий! Помните? — восклицают дамы, которые всегда находят, что время слишком торопится. Ольга Григорьевна глядит на своего Кирюшу матерински-влюбленно:

— Маленьким он у меня красавчик был, а вырось — гусь лапчатый.

Шея у Кирюши, действительно, — гусиная, плечи — покатые, лапы — несоразмерно большие и красные. Он губастый, вихрастый. Но глаза — в мать: мягкие, пушистые и ласковые, как черные котята.

Ольга Григорьевна называет Кирюшу недорослем: еще в прошлом году он играл в солдатики, да и теперь, пожалуй, непрочь; только боится, что «мамка» задразнит.

В противоположность другим семнадцатилетним, Кирюша «мамки» своей пе стыдится, хотя она ужас как плохо говорит по-французски, и, переходя через улицу, мечется перед автомобилями. Не только не стыдится, — Кирюша, напротив, считает, что «мамка» его — красавица, умница; что она все делает лучше, чем другие. Только...

Это «только», от которого страдает Кирюша, кирюшина «мамка» и бухгалтер Алексей Васильевич, — такого деликатного свойства, что о нем надо сказать особо.

Ольга Григорьевна еще далеко не старая, цветущая полная брюнетка. Она совсем несовременна: понятия сохранила те самые, которым была обучена в своем Ростове-на-Дону. А ведь вывезли ее из Ростова реебнком. Истово, по-церковному

верующая, домовитая, Ольга Григорьевна и одевается не по-парижски, и собольи «союзные» бровки свои не выщипывает. А если чуть-чуть и подкрашивает пухлые губки, то делает это не с бесстыдством, как теперешние дамы, а украдкой, мило конфузясь.

Что касается бухгалтера Алексея Васильевича, то жить с мужчиной без венца, конечно, грех, ужасный грех. Ольга Григорьевна это сознает, и Великим постом, обливаясь слезами, в этом постыдном «плотском грехе» кается.

Отец Афанасий вздыхает, головой покачивает: который ведь год это тянется.

— В законный брак давно вступить бы надлежало. Тем более, — у вас сын растет. Или, быть может, препятствия имеются?

Препятствия? Как сказать... Алексей Васильевич — человек холостой, свободный; он давно обвенчаться уговаривает. Он — хороший, добрый. Непьющий. И Кирюшу, как родного, любит. Кирюша к нему тоже расположен. Но, как подумает Ольга Григорьевна, что придется сыну сказать: «Я, Кирюша, замуж собралась». Нет, ни за что! «Вот мамке какая блажь на старости лет взбрела!» — Кирюша скажет.

При том же, Алексей Васильевич на три года ее моложе. Его знакомые скажут: «Старуху за себя взял». И беспечный, несолидный он какой-то, этот Алексей Васильевич: всякому взаймы дает, назад не требует. Все бы ему в синема. Или — фруктов, конфет ни с того ни с сего притащит. Теперь еще — это радио для нее покупать собирается. Совсем не то, что покойник. Тот — царствие ему небесное, — бережливый был; прямо сказать — скуповат. Ну, и — строгий, настоящий — глава семейства. Сама же она Кирюшу учила, свято отцову память чтить: каждый год два раза (в день ангела и в день кончины) вместе они на далекое кладбище ездят, панихиду служить.

— Поминаешь ли отца-то покойного? — спросит иной раз Ольга Григорьевна.

— Как же, мамка: утром и вечером поминаю.

А теперь вдруг, — на тебе! замуж, мол, иду. Стыд-то какой!

Однако, и так продолжать с Алексеем Васильевичем не хорошо. Грех — грехом, а жалко ведь ей его: ему хочется правильной семейной жизни, холостяцкая надоела.

И Кирюша догадаться, наконец, может; положим, — он ребенок, и слишком уважает свою мать; подозрении, небось, и в уме не держит. Но — мало ли что! Тот же Алексей Васильевич, пожалуй, проговорится. А то, — и просто скажет. С него станется!

Прошлой осенью Кирюша не захотел больше в лицее интерном оставаться.

— Мне. — он сказал, — к башо готовиться; а в этюде у нас всегда chahut.

— Что? Какой chahut? в каком «этюде»?

— «Этюд» — это, мамка, класс, где уроки готовят. А chahut — шум, безобразие, — пояснил Кирюша. — Ночевать я у тебя в кухне могу. И стола мне особого не нужно.

Присутствие Кирюши Ольгу Григорьевну в эту зиму очень стесняло. Она находилась в вечной тревоге, как бы сын не заметил чего, не догадался.

А Алексей Васильевич, по всегдашней своей беспечности:

— Не так страшно, — говорит. — Ну, — узнает, ну — что особенного? Рано или поздно придется ведь сказать.

Ольга Григорьевна сейчас же — как вишня.

— Ах, нет! ради Бога, не говорите ему! Я не выдержу этого стыда!

А самой — Алексея Васильевича до смерти жаль: видит ведь, как его эта ненормальная жизнь изводит. Другой — бросил бы, нашел бы себе такую, чтобы зря не мучила. «Значит, — любит», — думает она, сокрушаясь и радуясь.

А весной — новая забота: летний отдых. Алексей Васильевич вбил себе в голову, непременно всем втроем ехать на юг, на море.

Ольга Григорьевна спорила:

— Нет, Алексей Васильевич, это неприлично совсем, чтобы нам — вместе. Вам отдых необходим, безусловно. И поезжайте. А Кирюше — башо держать.

Алексей Васильевич не сдавался:

— Что же, что башо? Вот, выдержит, даст Бог, тогда ему и сказать. Да потом — и в мэрию.

— Если уж венчаться, так, во всяком случае, не в мэрии, а в церкви.

— Где желаете. Разве я против? И в мэрии, и в церкви перевенчаемся.

— Что это значит «где желаете»? Я нигде не желаю. Я сказала — «если уж», а вовсе я не соглашалась с вами венчаться.

Раз, застала она их с Кирюшей в горячем разговоре. Говорили шепотом, как заговорщики. Увидав ее, оба смутились. Потом приняли равнодушный вид.

— Ради Бога, Алексей Васильевич, вы ничего ему не сказали? — спросила она, когда сын вышел.

— Господь с вами! Это мы о летнем отдыхе. Я говорю, — жаль, что нельзя семейного билета взять.

— Вы ему сказали «семейный билет»? Я от вас не ожидала! Ну, да, я знаю, по вашему — «не так страшно». А я ни за что на семейный билет не соглашусь!

Про башо свое Кирюша предупреждал:

— Наверняка не выдержу. Запоминаю плохо: нынче — выучил, завтра — забыл. Потом диссертасион у меня — не особенно.

— Диссертасион — это сочинение, что ли? — спросил Алексей Васильевич. — Я когда-то в прогимназии здорово писал. Такую тему на экзамене дали: «И чрез золото слезы льются». Четыре с крестом получил. А теперь какие темы дают?

— В прошлом году была «Беседа Монтеня с соседним жантильомом».

Алексей Васильевич присвиснул:

— Ну, брат, про это я ни черта не написал бы! Про Монтеня — с чем его едят, как говорится, не знаю.

Перед первым письменным экзаменом Кирюша, по совету матери, сходил в церковь.

— Там, ты ведь знаешь, две иконы Божией Матери — объясняла она деловито. — Одна, как войдешь, сейчас направо, без оклада. Это — Почаевская. Другая — налево, в золотой ризе, Тихвинская. Тихвинской и поставь.

— Лучше обеим поставить, — наполняя стило, решил Кирюша.

С экзамена он вернулся — ничего, бодрым.

— Написал пять страниц, хотя — размашисто. И грязно очень. Потом — я Буало забыл.

— А важное это буало? — с тревогой спросила Ольга Григорьевна.

Уже по тому, как, возвращаясь со второго письменного, Кирюша медленно тащился по лестнице, Ольга Григорьевна поняла, что дело — дрянь.

— Провалился: не решил проблемы! — безнадежно сказал Кирюша и сел на стул. Губастый, мягкий, как у теленка, рот его вздрагивал.

— Ну, ничего, — скрывая волнение, тихо сказала Ольга Григорьевна. — Ничего, пустяки. Осенью выдержишь.

Кирюша не ответил. Немного посидел, потом объяснять начал. Что провалился — никто ему пока еще не сказал. Результат письменных будет известен через неделю. Пошлют желтенькую бумажку, в ней сказано, допущен до устного, или нет. Только и надеяться нечего, раз проблемы не решил.

Очень трудно было Ольге Григорьевне в этот вечер стать на молитву: что там ни говори, а по отношению к ее Кирюше была допущена несправедливость. «Он так весь год старался. Да и в Бога он, может, один из всех, которые там держали, по-настоящему правильно верует».

Когда она уже лежала в постели, Кирюша, в одной рубашке, подошел на цыпочках к ее двери:

— Мамка, ты спишь?

— Нет. А что?

— Тебе очень грустно, что я провалился?

Ольга Ггигорьевна начала уверять его, что ей совсем не грустно: мало ли какие случайности бывают.

— А ты не виноват, сынушка; ты работал.

Он ушел к себе в кухню и погасил свет. А она долго плакала в подушку над несправедливостью Бога к ее Кирюше, и думала о том, что, если бы Кирюша был плохой, грубиян, лентяй, — ей теперь было бы легче.

Утром, до службы, забежал Алексей Васильевич. Ему рассказали. Но он, по обыкновению, принял легко.

— Во-первых, еще неизвестно, провалился ли. Не решил? Сбился? Давай задачу, сейчас в два счета разберем.

— Не так страшно, — объявил, просмотрев кирюшины черновики. — План верен, ошибся в вычислениях. За это не провалят. Мне один знакомый про своего сына рассказывал. Так тот и в плане, и в вычислениях наврал, и все-таки выдержал.

«Удивительно, как он умеет утешать», — радовалась Ольга Григорьевна. — «Вон у Кирюши и глаза сразу повеселели».

Через неделю пришла с трепетом ожидаемая «желтенькая бумажка»: допустили до устного!

Кирюша приободрился, начал усиленно работать. Ольга Григорьевна ходила на цыпочка, никого из знакомых в квартиру не пускала: «Кирюша готовится». Даже Алексею Васильевичу велела пока не ходить.

Накануне устного Кирюша так разволновался, что всю ночь не мог заснуть. Чтобы не встревожить мать, света не зажигал, лежал тихо. Ольга Григорьевна, босая, крадучись, подходила к его двери послушать, и, убедившись, что он не

спит, не окликнув его, шла к себе. Она тоже всю ночь не смыкала глаз. С ужасом думала, как, не выспавшись, с головною болью, он завтра пойдет на экзамен.

Если бы не приходилось скрывать от сына своих отношений, Алексей Васильеич был бы теперь здесь, с ними, он успокоил бы Кирюшу, придал бы ему мужества.

— Ты совсем не спал? — спросила она, готовя сыну утром кофе. — Голова, небось, болит?

— Нет, я немного поспал. Я кальмин приму.

Все утро, оставшись одна, Ольга Григорьевна, перемогая слезы, опять думала о несправедливости. О несправедливости к Кирюше, который наверняка провалится, хотя учился и в Бога верует. О несправедливости к Алексею Васильеичу. Алексей Васильевич такой добрый, так о них заботися, почти все свое жалование на них тратит. Прекрасный был бы муж, отец... А вот не имеет семьи. Думала она, наконец, и о несправедливости к ней самой. Пускай она блудница, но ведь она своей неправильной жизни стыдится. И все ведь она готова сделать, все отдать, чтобы только оба они были счастливы...

«Что же это я!» — опомнилась вдруг. — «Надо молиться, а я робщу. Бедный мой Кирюша, за что тебе Бог такую грешную, бестолковую мать дал?»

На лестнице послышались непривычно-быстрые шаги. Сразу испугавшись, Ольга Григорьевна решила, что теперь он уже совсем, окончательно провалился.

— Ну, ничего,ничего, не огорчайся, — начала она раньше, чем отворила дверь.

Но Кирюша, совсем новый, буйно-веселый, ворвавшись в комнату, уже осыпал ее колючими поцелуями, и кричал, что он какую-то «монсион» получил.

— Что ты получил? Какую «монсион»? — спрашивала она, плача от радости. — Ты скажи, ты выдержал?

Оказалось — не просто выдержал, а с отличием. «А я

думала — несправедливость», — упрекала себя Ольга Григорьевна, прижимая к себе Кирюшу, как будто он вернулся из страшно опасного путешествия.

К вечеру счастливое возбуждение ее прошло: она беспокоилась, не вздумал бы Алексей Васильевич, на радостях, сегодня же все Кирюше сказать. Звонила ему даже по телефону на службу, но не могла дозвониться.

Наконец, он пришел. Узнав, обрадовался не меньше, чем она.

— Я говорил, — не так страшно! Ну, господа мои хорошие, теперь, когда наш Кирюша наполовину уже баккалавр...

— Алексей Висальевич, не надо... Это потом...

За кирюшиной спиной Ольга Григорьевна делала Алексею Васильевичу знаки.

Кирюша быстро к ней обернулся:

— Нет, уж ты, мамка, не спорь! У нас с Алексеем Васильевичем это давно решено... Мы обо всем переговорили, только тебе сказать боялись. И я обещание за тебя дал, если выдержу... А ты теперь уж, пожалуйста, не спорь, потому что вместе жить нам всем троим гораздо лучше будет... И семейный билет до Ниццы возьмем...

Ольга Григорьевна стояла вся красная:

— Я никак, никак этого от вас, Алексей Васильевич, не ждала!

Но Кирюша, охватив ее нескладными лапами, не давал говорить и взасос целовал свою мамку. Алексей Васильевич с хохотом закричал:

— Так ее! Хорошенько!

И сам бросился целовать отбивавшуюся от них смущенную и счастливую Ольгу Григорьевну.

СИМПАТЯГА

Малоизвестный беллетрист Игнатий Шваб жил тогда в рабочем предместье Парижа, на рю де л-Авенир.

Это была очень унылая улица. Особенно — осенью. Осенью, вечерами, когда темнота и туман смешивались в грязную бурду. Когда расплывчатым пятном света маячило на углу бистро. И усталые, продрогшие люди спешили на этот свет. мелькая в нем, как сумеречные бабочки.

«Улица Будущего» называлась она, вероятно, потому, что настоящее ее — при отсутствии мостовой и канализации — было неказисто. Игнатий Шваб усматривал тут некую, поддерживавшую в нем бодрость, аналогию с самим собою: название улицы пророчило ему, если не славу, о которой он. по скромности, пе мечтал, то, по крайней мере, возможность добывать себе хлеб любимым литературным трудом. Пока что приходилось жить случайной работой, какая подвернется: переводами, уроками русского языка. Служил он одно время и ночным сторожем. А то так — сидел без работы и недоедал.

Хозяин дома, в котором жил Шваб, торговал кониной. Над входом в его лавченку торчала золоченая лошадиная голова. Развешенные на крюках огромные туши, как и толстобрюхий краснорожий хозяин, носили белые фартуки, что, впрочем, весьма мало содействовало их украшению.

Раз, дождливым вечером, когда Шваб возвращался домой, хозяин выглянул из лавки и сказал:

— Вас спрашивал какой-то компатриот. Фамилии не сказал. Обещал зайти еще раз.

Швабу хотелось писать. «Да и вообще... И что за компатриот ...в такой дождик?»

Через полчаса компатриот явился. Сухой, длинный, как старый сук. Бритый подбородок; сивые висячие усы. Глаза подтрунивают. Не то — над ним самим: «Ишь, пришел к незнакомому». Не то — над Швабом: «Удивляется, мол». Может быть — над обоими. Но подтрунивают не зло, приятно. По-стариковски добродушно.

Определить человека — все равно, что клад найти: надо знать слово. Ключом к этому компатриоту было милое словечко «симпатяга». «Знай его Шваб, им бы и воспользовался. Но он этого словечка тогда еще не знал.

— Честь имею представиться, — стряхивая пальцами капли дождя с усов, сказал компатриот. — Фамилия моя Гнилозубов. Хотя зубы — ничего, не гнилые. — Глаза его, подтрунивая над странной фамилией, еще веселее засмеялись. — Казак Цимлянской станицы, хорунжий Гнилозубов. Собираюсь, если позволите, обеспокоить вас маленькой просьбой.

«Мемуары написал», — не совсем доброжелательно заподозрил Шваб. Попросил, однако, своего гостя присесть.

— Дело, видите ли, вот в чем, — усаживаясь, продолжал хорунжий Гнилозубов. — Служу я в настоящее время уборщиком в депо. Платят ничего. И отношение хорошее, не пожалуюсь. Одна беда: языка не понимаю. «Ву-же; же-ву». Киваю, знаете, на все головой, как болван: «Са ва, са ва!» Ну. да ведь на одной сове далеко не уедешь. — Он засмеялся, деля свой смех на отчетливые «ха-ха». — Так вот, хотел было просить вас, не дадите ли мне урок-другой из ихнего языка.

Шваб выразил удивление; сказал, что учителем французского языка не состоит.

— Нет, зачем, — перебил тот, — я вас знаю. Но подумал так: коли писатель, обязательно с языками знаком. Закурить позволите? — Он скрутил папиросу, помуслил, чиркнул зажигалкой. — Знавал я одного писателя. В Ростове-на-Дону. Сыромешников по фамилии. Не изволили знать? Как же, известный был писатель. Еще, если не ошибаюсь, в «Донской Речи» фельетон его раз напечатали. Да, так вот — он. Без словаря, представьте, французские книжки читал. А мне

много ли нужно? Чтобы только объяснить: «Ордюры, мол, вынес», «О де жавель купить нужно». Вот и все. Тут уроков на десять. Плату сами будьте добры назначить.

Забавная идея пришла хорунжему Гнилозубову учиться на старости лет «ихнему языку», и почему-то у русского эмигранта. Но еще забавнее, что Шваб, очень плохо по-французски говоривший, — согласился. Мысль была у него тут всегдашняя у пишущего человека: «Может, потом пригодится». Мысль некрасивая, профессиональная. Да с этим уж ничего не поделаешь. По добросовестности своей он, впрочем, честно признался своему будущему ученику, что «ихним языком» и сам не в совершенстве владеет. И цену назначил умеренную.

Стал хорунжий Гнилозубов ходить к Швабу аккуратно. Но в первый же урок выяснилось, что «ихний язык» ему не дается. — Ле... ле... — старался он преодолеть трудности произношения, — ле шез.

— Ля, — поправил Шваб.

— Вот те раз! Почему «ля»? Стул-то, небось, — «он».

Бился Шваб с ним ужасно. Особенно трудны казались старику спряжения. Дома, по вечерам, он в них упражнялся. Раз проспрягал он слово «moustache»: je moustache, tu moustaches, il moustache, nous moustachons»... Окончания во всех лицах поставил правильные.

— А что значит «moustache»? — спросил Шваб.

— Мусташ? — Он поднес руку ко лбу. — Запамятствовал, знаете.

Когда Шваб сказал ему, что мусташ — усы, он долго хохотал своим членораздельным смехом.

Приходя вечером, хорунжий Гнилозубов неизменно спрашивал:

— Как здоровье? — и, не дожидаясь ответа, заявлял: — А у меня башка нынче чего-то не работает.

После урока он уходил не скоро. Любил посидеть, покурить, поразговаривать.

— Не мешаю? — спросит. И начнет крутить папиросу. Иной раз почтительно осведомлялся:

— Над чем изволите в настоящее время работать?

Или скажет:

— Прочел вчера вашу статью. — Назвать «рассказ» казалось ему, вероятно, недостаточно уважительно. — Маловато, признаться, понял. Вообще нынче уж не так пишут, как прежде. Вот Сыромешников, например. Тот, бывало, из нашего казачьего быта писал. Здорово у него получалось, с чувством. Слезу иной раз прошибет.

О литературе говорил хорунжий Гнилозубов больше для Шваба, для себя же предпочитал рассказывать об однополчанах. Начинал обыкновенно так:

— Подъесаул у нас, знаете, был. Перезвонов по фамилии. Мужчина роста выше среднего. Молодец, бравый. Симпатяга такой.

И все у него были «роста выше среднего», и всех людей делил он на «симпатяг» и на «чудаков». Чудаками называл тех, которые ему не нравились:

— Чудак какой-то, Бог с ним! Неосновательный человек, — говорил, как будто об этом чудаке сожалея.

Но «чудаков» было мало, а остальные все — «симпатяги».

Он никогда не жаловался на трудности своей теперешней жизни, словно вовсе их не замечал. Французов, даже начальников своих, не бранил. Напротив, тоже называл симпатягами. Это очень располагало к нему Шваба.

Была у хорунжего Гнилозубова и еще одна тема для разговоров. Заветная. Но к ней он приступил только, когда они хорошо познакомились. К этому времени Шваб уже знал, что у него в России жена-старуха, два сына, да дочь. Что он с ними переписывается. Но все это было сообщено просто, как факты, безо всякой сентиментальности. Провести Шваба хорунжему, однако, не удавалось: по тому, как он произносил «моя сожительница» или «старший мой», по выражению его глаз, которые при этом переставали смеяться, тот уже угады-

вал, что, под напускным равнодушием, скрывается большое чувство.

— Своих вам показать принес, — сказал он однажды, кладя на стол что-то, завернутое в газету. Шваб понял, что за «своих» хорунжий уже боится: понравятся ли, и что его отзыв может очень повлиять на их приятельские отношения.

— Вот моя хата. Вот покорнейший слуга за самоваром, — говорил хорунжий, показывая Швабу одну фотографию за другой. — Вот дрожайшая половина.

У его жены руки были симметрично выложены на коленях, и смотрела она в аппарат, словно в жерло направленной на не пушки.

Шваб похвалил: очень, мол, симпатичная. И сыновей похвалил: молодцы, хоть куда.

Наконец, подал тот ему довольно большую фотографию в раме, под стеклом.

— А вот и младшая моя, Олимпиада.

В тоне его была едва скрываемая отцовская гордость. Шваб догадался, что Олимпиада у него любимица, и что настал для их дружбы решительный момент. Фотография изображала девицу с перекинутой на грудь косой.

— Красавица! — сказал Шваб.

— Девочка неплохая, — сдержанно подтвердил старик.

В другой раз принес он, только что полученные из станицы, письма. Осторожно перелистывал загрубелыми пальцами дорогие листки.

— Вот пишут: «Не посылай нам, папаша, денег. На себя трать». А старуха что придумала! — Он самодовольно усмехнулся. — «Семью, небось, там другую завел». Ревнует! Не понимают они нашей здесь жизни. Вон у меня сосед по комнате, русский, куда меня моложе, холостой. А и тот задумывается семьей обзаводиться. Француженки — они француженки и есть. Эх, жизнь! А нам — ихней, тамошней, не понять. Пишут: «Олимпиада в ликбезе работает». Что за «ликбез» такой? — думаю. Может, нехорошее что.

Шваб объяснил ему.

— Ликвидация безгра-амотности! — протянул хорунжий. — А я всю ночь промучился.

В первый день Пасхи пришел хорунжий Гнилозубов к Швабу подстриженный, свеже-выбритый, в целлулоидном воротничке.

— С Светлым Праздником имею честь! — сказал, торжественно сияя. — Говел нынче. Из церкви прямо к вам. От вас пойду к землякам. Заложим хорошенько.

— Я не знал, что вы пьете, — заметил Шваб.

— Вона! Казак разве бывает непьющий? Да в такого казака плюнуть только. — Он закурил самокрутку. — К исповеди очередь огромная. Самая для попов страда. А тут еще попался чудак, полчаса исповедался.

— Что же ему делать, коли грехов много?

— «Грехов много»? А ты помни, что другие ждут. Да и попа пожалей: человек тоже. «Грехов много»! Да чего их рассказывать, кому интересно? Кабы новенькое что, а то ведь грехи то у всех одни. По мне так: «Во всем, батюшка, грешен». И делу конец.

После Праздника пришел хорунжий — глаза посоловелые, мутные.

— Урока брать, извините, не могу. Вчера опять хорошо заложили: башка трещит.

Но Шваб видел — другое что-то у него, крепко невеселое. Спрашивать не стал, пускай — сам. А тот, говорить — не говорит, и уходить — не уходит. Курит одну самокрутку за другой, да молчит мрачно. Наконец, неохотно сказал:

— Получил нынче из станицы. Меньшая, Олимпиада, за коммуниста идет. Благослови, пишет, папаша, в загс с ним сходить. А старуха пишет, загс — это где браки регистрируют. В церковь, пишет, жених не соглашается. Что ж, думаю, кто она теперь будет, Липа-то моя? Сказать нехорошо. И как мне, отцу, дочь мою законную на загс на этот благословить?

Шваб ничего не решился старику посоветовать. Тот, впрочем, совета и не спрашивал. Ушел такой же расстроенный, как пришел.

С этого дня Симпатяга «ихний язык» забросил. Отговаривался все нездоровьем. Взгляд у него сделался тупой, остановившийся. Часто, должно быть, с горя, «закладывал».

— Никак ответа не собирусь написать, — жаловался он Швабу. — Сяду за письмо, а в голове: «у-у-у...» Точно волков стая. А нынче опять получил. Все про то же: благослови, да благослови. Жених ждать не хочет. И сосед мой, русский этот, тоже говорит: «Чего тянуть? Думаете, без благословения вашего не выйдет?» Это сказать просто — «благослови». А отцу каково? Кабы на доброе что. А не дам своей Липе благословения, — так ей счастья не будет.

Потом встретил его Шваб на улице.

— Послал нынче, — сообщил хорунжий, заметно бодрясь. — Что ж, думаю, век то ее заедать? Благословил на загс. — Махнул рукой и пошел.

«Бедный Симпатяга, соком тебе этот загс дался!» — подумал Шваб, глядя как тот, сгорбленный и понурый, шагал к своему отельчику.

Не заходил к Швабу после этого Симпатяга с неделю. И тот к нему не заходил, хотя и беспокоился. Всегда ведь так: сегодня, да завтра. Пока ни «завтра», ни «сегодня» никаких уже не оказывается, а одно только «вчера». Так и тут. Прибежала раз утром бистровщица:

— Мосье Гнилозубов сегодня ночью скончался! — И заревела. А баба она была здоровенная, ряжая. И всегда Швабу казалось, что она только ругаться способна, а уж никак не плакать.

— Вчера поздно вечером ему стало нехорошо. Мы сейчас же позвали доктора. Доктор сказал: «Coup de sang». Мы делали, что он велел. Льду достали, компрес на голову поставили. Но ничего не помогло. Он и в сознание не приходил. В четыре часа утра скончался.

Вместе с бистровщицей Шваб пошел туда.

Покойник лежал на кровати, по пояс покрытый темно-красным стеганым одеялом. Руки сложены крестом, веки опущены. Лицо — спокойно-сосредоточенное.

В комнате была та особая тишина, которая окружает мертвого. Живым она кажется страшной. Но Шваб страха не ощутил. Он поклонился усопшему до земли, благоговейно коснулся губами холодного твердого лба. И, с чувством причастника великого таинства, вышел.

МИЛЫЕ ДАМЫ

Портретистом Калмыков был талантливым, но человек — до крайности безалаберный и беспокойный. В искусстве, как и в жизни, он все чего-то искал. Одно время Пикассо и его школой увлекался. Не долго, впрочем. Портреты в профиль с двумя глазами, или en face — с одним, преувеличенную ассиметричность, отсутствие таких необходимых частей лица, как рот — скоро стал называть «штукарством». Но претило ему и «по старинке» писать.

— Надо искать *спрятанное,* — говорил он своему приятелю Шумарину. — Спрятанное за тем, что все видят. Не найдя спрятанного, — портрета написать нельзя. Оно в каждом лице есть, только в некоторых куда-то очень глубоко засунуто.

Когда случались с ним «припадки творческого бешенства», как это называл Шумарин, он буквально набрасывался на каждое человеческое лицо, рылся в нем глазами. Лиц человеческих он, несмотря на свою до них жадность, вовсе не любил. Напротив, отвращение к ним чувствовал.

— Почему люди все остальное прячут, а самое неприличное оставляют открытым? — спросил он однажды, к великому возмущению присутствовавших.

Калмыковские портреты большого успеха у публики не имели.

— Очень талантливо, конечно. Но — злая каррикатура, — говорили.

В промежутках между припадками творчества, Калмыков, праздный, скучающий, — ходил к Clémence; много пил; жаловался, что «сам себе осточертел». Иногда давал зарок, больше не писать. «Без того всю жизнь красками перепачкал. Да и что за радость — плодить уродов».

Время от времени он очень всерьез влюблялся, надоедал Шумарину бесконечными рассказами о своем предмете... Потом переживал бурное разочарование. Всю эту бестолочь объяснял он тоскою по Красоте.

— Ведь я на зло себе и другим наше безобразие малюю, — впадая в пьяный пафос, говорил он все тому же Шумарину. — Думаешь, мило оно мне, что ли? Мне Красоты нужно, пойми! Не дрянной «красивости» (ее сколько угодно), а Красоты. Красоты с большой буквы!

Знакомые же Калмыкова, полагали, что беда его не в том, что куда-то пропала «Красота», а скорее в том, что он ежемесячно получал от какого-то родственника порядочную сумму:

— Пришлось бы работать, так, небось, блажь-то бросил бы!

Раз, ранней весной, явился он к своему приятелю, после довольно долгого отсутствия, в первом часу ночи. Тот был уже в постели, но Калмыков объявил, что спать в такую ночь — просто свинство, отворил, выходившее на глухую стену окно, и начал восхищаться лунным пейзажем.

— Хорошо бы теперь, знаешь, музыку послушать, — сказал лирически. — «Лесную идиллию», например. Я — в удивительном настроении!

— А я — спать хочу, — сердито отозвался Шумарин.

— Вздор, в другой раз выспишься! — Калмыков начал с жаром говорить о современной «потерявшей Красоту» эпохе, о только что обретенном им «нетронутом уголке поэзии», о какой-то Фимочке, о какой-то тете Клэо... Наконец, разбудив дремавшего приятеля, он долго, с божбою, уверял его, что ему, Владимиру Калмыкову, надлежало бы родиться лет полтораста назад. Пьян он в этот раз не был.

Через несколько дней он зашел опять. И опять — совершенно трезвый. Только не ночью, а — днем. Было воскресенье.

— Едем сейчас к Синицынам! — закричал, не здороваясь. — Ну, что тебе стоит? Едем! Ей Богу, — благодарить будешь! Нет, брат, тут совсем не то, что ты подумал, — поспешил он возразить на ехидную усмешку приятеля. — К Синицыным с этими пошлостями и не сунешься. Дело, коли желаешь знать, — гораздо глубже. Смейся, если хочешь, а мне, ей Богу, кажется, что я начинаю нравственно перерождаться. Я, наконец, нашел людей... Ну, да вот — сам увидишь!

Вообража-аю! — протянул Шумарин. Однако, поехал.

Синицыны жили в красиво расположенном над Сеной городке. Как только Шумарин вошел в их калитку, он понял, почему Калмыков говорил о себе, что ему следовало бы родиться полтораста лет назад: тихий садик, весь в бело-розовых хлопья цветущих яблонь, старомодный особнячок и — в довершение поэзии, — стоявшая на крылечке девушка в легком светлом платье, — все было полно особым, несовременным шармом.

— Это — Фимочка, — шепнул ему Калмыков.

Фимочка улыбнулась Шумарину, как знакомому, просто сказала:

— Наконец-то, вы к нам собрались. — И опять принялась подвязывать к палочкам гибкие стебли какого-то растения. — Погодите, сейчас кончу.

Вблизи Фимочка не совсем походила на «тургеневскую девушку»: ей было верных тридцать пять, пожалуй, — и все сорок. Но не походила она и на современных девиц: губ не подмазывала, волос — не завивала. Лицо ее — простое, несколько скуластое — сразу возбуждало симпатию. По обращению с нею Калмыкова чувствовалось, что увлекается он ею не как женщиной.

Приятели принялись рассматривать, едва из земли выглядывавшие фимочкины насаждения.

— А вот и мой любимец, познакомьтесь! — сказала она Шумарину, поднимая с земли крошечного белого котенка. — Смотрите, какая у него славная рожица! — Она протянула его к нему и, наклонив голову на бок, с улыбкой поглядывала то на котенка, то на него.

В окне дома показалась длинная женская фигура в золотисто- желтом платье.

— Тетя Клэо, чай готов? — спросила Фимочка.

Калмыков и Шумарин подошли к окну.

— Знаю, знаю! — перебила тетя Клэо представления Калмыкова, и протянула Шумарину из окна свою, до плеча обнаженную, худую руку.

Смуглой кожей и большими темными глазами тетя Клэо напоминала цыганку. Волосы, необыкновенно черные, вились у нее короткими крутыми кудерками. Определить ее возраст было решительно невозможно.

— Идите пить чай, — сказала она им. Обернувшись в комнату, прибавила: — Владимир Владимирович своего приятеля привел.

Обстановка в домике — плетеная мебель, пестрые занавесочки на окнах, — была веселая, дачная. В светлой столовой ждала гостей третья дама. Фимочка называла ее тетя Фанни.

На мило сервированном столе стоял никелированный самоварчик. Стоял, но не кипел. Шумарин потом узнал, что самоварчик — бутафория: воду кипятили в чайнике на газе и в него вливали. Делалось это для настроения. Перистая ветка с желтыми, словно из пушистой шерсти сделанными цветочками в узком бокале, — вносила артистическую ноту.

Тетя Фанни была старше и уютнее тети Клэо. По сравнению с утонченностью сестры, она казалась простоватой. Наиболее характерной чертой ее лица был нос. При помощи этого крупного, очень подвижного носа, тетя Фанни ухитрялась выражать самые разнообразные эмоции.

— Я вас совсем другим представляла, — поправляя на костлявой ключице янтарные бусы, прищурилась на Шумари-

на тетя Клэо. — Но ваше лицо мне нравится. У вас хорошее лицо.

— Вам покрепче? — приветливо улыбаясь носом, спросила тетя Фанни.

— А ваше, — тетя Клэо щурилась теперь на Калмыкова, — я вам уже говорила, производит двойственное впечатление. Это потому, что вы еще не нашли себя.

— Отчего вы не берете кэкса? Он постный, — сказала тетя Фанни. — Не поститесь? — Нос ее неодобрительно вытянулся. — Это нехорошо. Надо вас с отцом Федором познакомить: он замечательно говорит о необходимости аскезы. — Она пододвинулась к Шумарину и вполголоса, чтобы не мешать разговору тети Клэо с Калмыковым, продолжала: — Я хочу вас обоих привлечь к работе в нашем приходском благотворительном отделе. Что же, что вы в Париже? У нас и там работа: навещать по госпиталям больных. — И видя, что он намерен отказаться: — Это необходимо для вас же самого, — мягко, но настойчиво поспешила она прибавить. — Ведь сказано: «Вы не посетили Меня»... С больными, конечно, трудно. Почти все они озлоблены. Вчера еще я говорю одному... Знаешь, Фимочка, тому, которому ногу отрезали. Я ему говорю: Дорогой мой, надо всегда помнить слова Спасителя «блаженны плачущие». А он почему-то рассердился...

— Ваша трагедия — это трагедия Гоголя, — говорила Калмыкову тетя Клэо. — Вы видите кругом себя ужасные рожи, а нужно в каждом человеке видеть образ и подобие Божие.

Предметы комнаты, весело отражаясь в самоварчике, уменьшались в размерах и становились необыкновенно приятными, уютными. Шумарин пил чай, ел кэкс, слушал доброжелательные голоса, говорившие на высокие темы, — и начинал с удивлением понимать, что отчаяние потерявшего ногу больного, которого тетя Фанни тщетно старалась утешить евангельскими текстами, и доводившая Калмыкова до запоя тоска по Красоте, и деже трагедия Гоголя, — что все это, пожалуй, не так уж страшно. Что все это даже совсем не страшно, если только суметь подняться до возвышенной точки зрения

благожелательных дам. Себя он, впрочем, чувствовал совершенно к этому неспособным.

После чая, Фимочка, сказав: «Помогите мне, пожалуйста, подвязать розу», — увела Калмыкова в сад.

— Вы давно знаете Владимира Владимировича? — как только они вышли, спросила тетя Клэо. В пояснение прибавила: — Мы за него боимся.

Видя Шумарина в первый раз, тетя Клэо говорила с ним, как со старым другом: это была одна из ее милых оригинальностей. Долго еще она рассказывала ему о духовном пути, о творчестве, о том, что все они, в особенности Фимочка, стараются помочь Калмыкову найти себя. Но что это чрезвычайно трудно.

— Вы знаете, душа человеческая такая страшная проблема, — заканчивая разговор, сказала она глубоким тоном и с глубоким взглядом своих прекрасных темных глаз.

Когда, выйдя от Синицыных, Калмыков спросил своего приятеля, что он о них думает, Шумарин ответил то, что, как ему казалось, тот хотел от него слышать. А, впрочем, не задумываясь и даже — с жаром:

— Очень симпатичные, очень радушные. И какая уютная, прямо московская атмосфера!

Но ответ его Калмыкову вовсе не понравился.

— Дело не в уюте, — строго, почти враждебно, перебил он его. — Дело в том, что эти женщины имеют нечто, чего мы с тобою лишены.

— Возможно, — сказал Шумарин примирительно.

Был ли при этом вполне искренен? И да, и нет (как любят говорить утонченные старые французы). «Актив» дам, разумеется, не ограничивался радушием и уютом. У всех трех обнаруживалось стойкое миросозерцание, они были культурны, не злословили, не сплетничали; доброжелательство чувствовалось в каждом их слове, в каждом взгляде. Однако... кое-какие мелкие штрихи — досадные, как ретушь на фотографии — не ускользнули от него, даже в этот первый его

визит. Заметил он, например, что черные кудерки тети Клэо — на солнце отливали зеленью, и что, может быть, именно поэтому, она избегала выходить в сад. Разбор лиц гостей и их душевных трагедий за чайным столом — показался ему не совсем уместным. Говоря об аскезе, тетя Фанни с аппетитом кушала кэкс. И вот еще что: при произнесении евангельских текстов нос ее умиленно морщился, тогда как по поводу страданий больного — тот же нос ровно ничего не выразил. Ну, а Фимочка — это Шумарин заметил в саду, в сцене с котенком, — не кокетничая в обыкновенном смысле слова, — немножко стилизовалась под слащевых кинематографических перво-христианочек.

«Но все это, конечно, пустяки», — сказал он себе. — «И где этого нет? И разве существует на свете такая Красота с большой буквы, под которую, при желании, нельзя бы было подкапаться?»

Вместе с Калмыковым Шумарин еще несколько раз посетил приятный синицынский дом. Калмыков бывал у них постояннно. Он проводил время больше с Фимочкой; однако, беседовал охотно и с тетями. Влияние всех трех стало сильно на нем сказываться: бросил пить, не ходил к Clémence, интересовался религиозными темами. По неотступной просьбе тети Фанни, он даже начал читать Феофана Затворника. Но за работу не брался. И это очень огорчало всех трех дам, в особенности — тетю Клэо.

Каникулы Калмыков и Шумарин еще раньше условились провести в Норманди. Но Синицыны пригласили Калмыкова на все лето к себе. В Довиль Шумарин уехал один.

Вернувшись через шесть недель, он узнал, что приятель его все еще у них и, в ближайшее воскресенье, туда отправился.

Застал всех, кроме Калмыкова, который, как ему сказали, на целый день уехал в Париж. Тетя Клэо и Фимочка имели таинственный вид людей, хранящих большую тайну.

Тетя Фанни казалась грустна. Она сказала, что они обеспокоены состоянием Калмыкова:

— Он хандрит. И я боюсь, что он опять начинает...

— Это естественная реакция, после огромного творческого напряжения, — перебила тетя Клэо. — Вы ведь ничего не знаете: за ваше отсутствие Владимир Владимирович написал замечательную вещь. Творчество его приняло теперь совершенно новое направление. Он, наконец, нашел свой путь.

— Хотите посмотреть? — не совсем решительно предложила Фимочка. — Он запретил показывать. Но вам, я думаю, можно. Неправда ли, тетя Клэо?

Она повела Шумарина наверх, в комнату Калмыкова.

На мольберте, прямо против двери, стояла написанная масляными красками, почти в натуральную величину — голова в терновом венце. Бледное лицо en face, впалые щеки, немного вверх глядящие глаза. Волосы — на прямой пробор, до плеч; традиционно раздвоенная борода. Все черты — правильные, суховатые, уныло-классические.

Молчание Шумарина, показавшееся ему мучительно-неловким, Фимочка приняла за знак благоговения.

— Тетя Клэо советует усилить фон, — сказала она вполголоса. Замечание подчеркивало, что, кроме фона, менять ничего нельзя. — Фон немного слаб. Как вы находите?

— По-моему, — нет! — сконфузившись, ответил Шумарин.

Ему было ужасно неловко за Калмыкова, за Фимочку и — за себя.

Они вернулись в столовую.

— Замечательно, не правда ли? — спросила тетя Клэо.

— Мне трудно судить, — уклончиво ответил Шумарин.

— Как? Неужели вы не почувствовали?

— Я мало понимаю в религиозной живописи.

Тетя Клэо с печальной задумчивостью устремила свои прекрасные глаза не на Шумарина, а сквозь него на противоположную стену:

— Это лицо надо принять в себя. Его надо выстрадать, — произнесла она с расстановкой.

Боясь, как бы Калмыков не вернулся и не застал его здесь, Шумарин начал поскорее прощаться.

Приблизительно через неделю, встретил он в Париже одного из своих общих с Калмыковым знакомых.

— Что у вас вышло с Владимиром? — спросил знакомый.

Шумарин удивился:

— Не знаю. Ничего не вышло. Я его после каникул даже и не видал. А что?

— Он вас ужасно бранит. Дам этих еще больше. Он их «святыми дурехами» величает.

Из дальнейшего разговора Шумарин узнал, что от Синицыных Калмыков, несколько дней назад, уехал со страшным скандалом. Но в чем было дело, и где он теперь, — знакомый сказать не мог.

— Пьет, наверно, — прибавил. — Ко мне, по крайней мере, явился совершенно пьяный. Говорил, что порядочному человеку больше ничего не остается, как пить. В Париже его сейчас нет, — исчез. А куда — шут его знает!

В первый свободный день Шумарин поехал к Синицыным.

Уже чувствовалась осень. Садик, еще зеленый, при серой погоде, — казался неприветлив.

Обе тети сидели в столовой. Тетя Фанни что-то шила, тетя Клэо читала ей вслух. Они показались ему очень подавленными и несчастными.

— Вы слышали? — тоном, каким спрашивают о смерти близкого, спросила тетя Клэо.

Шумарин ответил, что ничего не знает.

— Владимир Владимирович от нас уехал, — сказала тетя Фанни, и нос ее, сморщившись у основания, выразил почти физическую боль.

— Это кошмарная, совершенно кошмарная история! — не с негодованием, а с тихим ужасом подхватила тетя Клэо.

— Знаете, что он сделал? Он изрезал свою картину ножом! Он производил впечатление одержимого, весь дрожал от бешенства... «Разве это — Христос?» — кричал он тут. — «Только такие, как вы, могут думать, что это — Христос!»

— Он так нас бранил, прямо — нехорошими словами, — пожаловалась тетя Фанни. — Он сказал, что с нами сам благочестивым идиотом сделался... Бедный Владимир Владимирович был, конечно, сильно выпивши... Фимочка идет! — перебила она себя. — Не спрашивайте ее ни о чем: она так тяжело переживает... Ну, как твой больной? — неестественно обычным тоном обратилась она к входившей.

— Один студент — пояснила тетя Клэо Шумарину. — Туберкулезный. Ищет Бога.

Фимочка приветливо улыбнулась ему.

— Я очень рада, что вы пришли. Слыхали, что тут произошло? Мы еще опомниться не можем! — заговорила она быстро, торопясь все объяснить, но без всякого волнения. — Меня при этой сцене, к несчастью, не было. Владимиру Владимировичу я в тот же вечер написала, что нам страшно жаль, что он уничтожил свою прекрасную картину, но что мы на него не сердимся и просим поскорее к нам прийти. А он — такой нехороший! — даже не ответил. Грустно все-таки: возишься с человеком, возишься... Теперь вот — студент этот... Тоже все сердится, спорит, что Бога нет. «Если бы Он существовал», говорит, «то не допустил бы страданий»...

— Это они все говорят! — Тетя Фанни глубоко вздохнула. — Но ведь без страданий...

— Страдания — одна из самых мучительных духовных проблем, — вставила тетя Клэо.

— Но они необходимы! — с кроткой настойчивостью продолжала тетя Фанни. — Не будь страданий, никто не мог бы спастись. — Выдержав необходимую паузу, прибавила: — Давайте пить чай.

За чаем немного поговорили о работе благотворительного отдела, о Нормандии, о том, что лето, к сожалению, было дождливое. Но тетю Клэо эти житейские темы не интересовали.

Она начала глубокомысленный разговор о темных, нравственно-слепых душах:

—Вот, хотя бы, — Владимир Владимирович...

— Мы ведь условились, не говорить о нем дурно, — мягко напомнила тетя Фанни.

— Я только к примеру. Я говорю о темных душах вообще. Это очень страшный вопрос: есть души, которых добро отталкивает, а зло — неудержимо влечет. Трагедия этих несчастных в том...

Фимочка, чтобы не перебивать, знаками спросила Шумарина, не хочет ли он еще кусочек кэкса. Шумарин, тоже знаками, постарался выразить: «Очень вкусно, но больше, мерси, не могу».

Тетя Клэо продолжала, Калмыкова не называя, обстоятельно и тонко анализировать трагедию его темной души. Она делала это без малейшей злобы или недоброжелательства. Тетя Фанни сочувственно морщила нос и кивала. В бутафорском самоварчике большие предметы отражались маленькими, приятно-игрушечными.

НОВОЕ СЧАСТЬЕ

Прямо с вокзала Ксения Николаевна поехала в отель. Сердце сильно билось, когда входила. Внизу ее встретил красивый молодой итальянец с томной тенью под глазами. В прошлые ее приезды этого итальянца не было, однако, он, видимо, знал, кто она и к кому.

— Мосье Харламова дома нет, — сказал, раньше, чем она что-либо спросила. — Ключ — наверху: горничная убирает комнату.

Она вошла в лифт, нажала кнопку четвертого этажа. «Конечно, этот новый служащий все знает: первую встречную в комнату не пустил бы».

Дверь в номер Харламова была отворена. Чернокожая горничная, с расчесанной на косой пробор бараньей шерстью на голове, тоже незнакомя, терла порошком умывальник. По комнате валялись тряпки; половая щетка была прислонена к кровати. Взглянув на эту кровать со сброшенным в кучу постельным бельем, Ксения Николаевна почему-то решила, что Харламов здесь сегодня не ночевал. Это усилило тревогу.

Небрежно кивнув горничной, она поставила свой сак, и села в кресло.

— Продолжайте, вы мне не мешаете, — сказала тоном хозяйки, хотя та и не думала прерывать работу. «Эта эфиопка тоже все знает», — терзалась она, искоса за нею следя.

Комната, та же, что и в прошлый ее приезд. Но на этот раз — ни книг, ни бумаг на столе: «Ничего ганиного. Возможно, что он давно уже здесь не живет. Что, Боже мой, что все это значит?»

— Мосье не говорил, когда вернется? — спросила она, немного посидев.

— Ah! ça, je ne pourrais vous dire! — жеманно ответила «эфиопка». — Об этом вам надо было спросить внизу.

— Но вы же знаете его привычки, — настаивала Ксения Николаевна. Она уже начинала терять терпенье и впадала в свой тон разгневанной барыни. — Мосье больше года здесь живет. Когда он возвращается? Бывает он здесь в обед?

Задавая эти вопросы, Ксения Николаевна увидала в зеркале свое обыкновенно красиво-самодовольное лицо — покрасневшим, пристыженным. Рассердилась еще больше.

— Ça dépend... Как когда, — уклончиво ответила горгорничная. Кончив умывальник, она, со своими, злившими Ксению Николаевну, обезьяньими ухватками, принялась вытаскивать из под кровати коврик.

«Нахалка!» — раздраженно подумала Ксения Николаевна. Неожиданно для себя, разко спросила:

— Ну... кончили вы, наконец?

Черная женщина неопределенно усмехнулась, взяла кучу белья с постели, свои тряпки, щетку, савок. Молча вышла и притворила дверь.

Каждую ее ужимку, каждый жест Ксения Николаевна воспринимала, как личное оскорбление. Она почувствовала обиду и досаду на Харламова: по его милости приходится терпеть дерзости прислуги. Достала стило, вырвала страницу записной книжки: «Ганя, я положительно ничего не понимаю! Ты не встретил меня на вокзале, в отеле тебя нет, никто не знает, когда ты вернешься. Я же телеграфировала. Если не хочешь видеть и объясниться, — оставь записку. Я для тебя сыном жертвую...» Написав последнюю фразу, она заплакала. Стало безумно жаль себя, мальчика... Ведь из-за сумасшедшей любви к Гане она и свою жизнь губит, и жизнь ребенка... Не говоря уже о муже.

Бросила записку на стол и, ничего внизу не сказав, ушла.

Обедать без Гани, прежде, чем «все это выяснится» — она не могла. Долго бродила по улицам; стояла, ничего не видя, перед витринами магазинов; на скамейке какого-то пыльного скверика сидела. Так — до трех: дольше выдержать не было сил: «Ганя наверно вернулся, ждет меня...»

— Вам по телефону звонили, — сказал ей итальянец.

От внезапной радости она вся вспыхнула:

— Мосье Харламов?!

— Нет, дама. Здесь записано. Вот: «Madame la baronne de Ци-ге-нау» старательно прочел он трудную иностранную фамилию.

— Madame la baronne de Цигенау? — удивленно повторила Ксения Николаевна. — Я никакой madame de Цигенау не знаю... Это... это знакомая мосье Харламова?

Итальянец развел руками и противно-снисходительно усмехнулся.

— Вы же должны ее знать, эту madame la baronne! Она, наверно, здесь бывает...

Ксения Николаевна мучительно сознавала всю неловкость своих вопросов.

—Pardon, madame, мы имен посетителей не спрашиваем. У monsieur бывает много народа.

— А, у него бывает много народа? Я не знала. В первый раз слышу. Но не все же — дамы? И не все, я полагаю — баронессы? — Разойдясь и перестав собою владеть, Ксения Николаевна не замечала, что говорит глупости.

— Оставила она свой телефон, по крайней мере?

— Madame, la baronne телефона не оставила. Madame сказала, что позвонит еще.

Ксения Николаевна опять поднялась на четвертый этаж. На этот раз — по лестнице: вместо лифта сверху кабели висели; ждать не захотела. Запыхавшись, в страшной тревоге («Что это за баронесса?» «Чего ей от меня нужно?») она заперлась изнутри, посмотрела по полкам шкапа, выдвинула ящик стола. Надеясь отыскать разгадку ганиного поведения, принялась рыться в немногих оставленных им бумагах: счета

от прачки, вырезки из газет; опять счета, ее телеграмма, открытки самого ничтожного содержания... Вот одна от Виктора...

— Господи, что же это такое? — прошептала она, прочитав. Из зеркала платяного шкафа глянуло на нее как бумага белое, страшное чужое лицо. Еще раз, медленно, слово за словом, перечитала: «С ужасом узнал, что ты собираешься все ей сообщить. Ради Бога, не делай этого. Во всяком случае — *до*» (это слово было подчеркнуто). «Ты же ее знаешь! Что тебе — сцен, истерики хочется? Скажешь *после,* теперь ведь уж не долго. Кстати, — когда: шестого или седьмого? Напиши. Я непременно хочу быть в церкви. Почтительно целую ручку баронессы...»

Ксения Николаевна упала головой на руки и долго громко, в голос, как девочка, рыдала.

Слишком недвусмысленно, слишком ясно! Ганя женится. Шестого или седьмого свадьба. Сегодня — седьмое. Значит вчера или сегодня... Боже мой, это слишком! Баронесса... madame la baronne... Почему — «madame»? Вдова, что ли?.. И она.. она имеет дерзость мне звонить? В то время, как Ганя позорно от меня прячется, в ее же, наверно, доме!

Так вот разгадка его молчания в продолжение целого месяца! А ведь он уверял, будто его совесть замучила: «Мы бесчестно поступаем»... «Он тебя любит, мы не имеем права его обманывать»... «У тебя ребенок»... Она объясняла это тогда какой-то особой его психологией. В это слово она беспомощно собирала все его непонятные ей мысли и чувства, которыми часто, много раз, пытался он поделиться с нею: «Не могу я больше так жить, пойми!» — говорил он в отчаянии. «Мы (не мы с тобою только, а все, все, кто нас окружают) погрязли в каком-то болоте, мы даже не понимаем, что нас — засасывает! Сидя в тине, мы, как глупые лягушки, ловим комариков и жизнерадостно квакаем!» С ее стороны эти аллегории вызывали только страх и недоумение: «Какое болото? какая тина? почему мы — лягушки? Ради Бога, не надо психологии! — просила она. — Я вижу — ты неудов-

летворен, тебе тяжело... По-моему, ты просто разлюбил мену! — Тогда он замолкал о своем и начинал утешать. Но в последнее свидание он, уже не утешая, сказал прямо: «Те отношения, которые между нами были, мне теперь отвратительны: ведь мы друг для друга — чужие. Нас не любовь связывает, а страсть».

И все-таки она не понимала. Даже когда сюда собиралась, не хотела верить. «Какой это ужас был!» — вспомнила она. — «Сцена с мужем... Ника, который старался, бедняжка, быть со мною особенно нежным... А ему уже десять лет. Кто может сказать, что и как понимает десятилетний мальчик в страшных вопросах жизни?» И все это — из-за него, из-за Гани! Как она его идеализировала, каким необыкновенным, на других непохожим, благородным, возвышенным воображала! В одном из его последних писем были размышления о новом, настоящем счастье. Прочитав это тогда, она вспомнила «болото», «тину» — и подумала, что идеально-чистого ганиного счастья ей, бедной лягушке, никогда не понять... А вот теперь оказывается, что «новое счастье» — больше ничего, как новая любовь! Старая не интересна уже, приелась, а тут — баронесса, красавица небось, богатая... О, как обыденно, как пошло вся его психология объяснилась!

Постучали. Ксения Николаевна быстро отерла глаза:

— Что такое? — спросила сквозь дверь.

— Madame la baronne de Цигенау просит к телефону.

«А, Madame la baronne! Что же, тем лучше, тем лучше: по крайней мере — сразу».

Спешно попудрившись, она сбежала вниз.

— Allô, allô! Я у телефона.

К удивлению — мужской голос. По-французски:

— Madame la baronne просит зайти к ней сегодня не позднее пяти, чтобы переговорить о том деле, по поводу которого она вам писала.

— Я не получала никакого письма. Но я... Скажите баронессе, что я буду.

Голос раздельно произнес адрес. Ксения Николаевна записала.

Но в спокойно возносившейся клетке лифта, ее вдруг поразила ужасная мысль: «Приглашение через прислугу!» Зачем, зачем согласилась! Ехать к ней, подавать величественному лакею свою карточку... Как просительница ждать в ее роскошном салоне, пока баронесса соблаговолит появиться... И что же она от нее услышит? Ведь она и так все знает! *Той* хочется ее слезы, ее отчаяние видеть, чтобы потом вместе с ним, Ганей, над нею смеяться. Ах, все равно, лишь бы кончилась эта неизвестность. Надо ехать... Глаза заплаканы... И платье с дороги не чищено...

Хотела, проходя внизу мимо итальянца, сказать, что уходит ненадолго, что просит мосье Харламова, если он вернется... «Ах, к чему? К чему делать себя смешною? Не вернется он, ведь это теперь совершенно ясно. Иначе зачем бы ему эту баронессу ко мне подсылать?..»

Надевая перчатки, подумала: «В нитяных — к ней? Ни за что!» Зашла в магазин, купила светлые, лайковые. В этом, в этой покупке «для баронессы», — опять было что-то глубоко унизительное. «Очень ей нужны мои перчатки. Ей позор мой нужен...»

Выйдя из метро, стала, по широкой авеню, искать 121-ый номер. Вот он! Надменный, эгоистического вида, особняк. Чувство превосходства во всем: в чугунной решетке, в дорожках небольшого сада, по которым ступить страшно, даже в цветах на клумбах, каких-то особенно строгих.

Когда Ксения Николаевна собиралась входить, из ворот медленно и бесшумно выкатился щегольской автомобиль. В нем сидели две дамы. Она успела разглядеть их; особенно ту, которая была с ее стороны, справа. Молодая, очень элегантная. Характерно изогнутый чувственный и властный рот. Лицо высокомерно холодное. «Невеста Гани!» Рядом — старушка в черном: тетка или компаньонка.

Баронесса ее не заметила. Ксения Николаевна вошла и спросила швейцара. Ответ был тот, какого она и ждала:

— Madame la baronne только что уехала с madame de Villet. Madame la baronne ждала до пяти, как было условлено. Она позвонит вам сегодня вечером в отель. Но, так как часа точно назначить она не может, то и надеется застать madame у себя.

Думая о Гане, Ксения Николаевна не обратила внимания на странный оборот баронессиных слов, очень похожий на приказание не выходить весь вечер из отеля.

— Хорошо, — ответила она, не зная на что соглашается. — А мосье Харламов... Он здесь?

— Monsieur? — не разобрав фамилии, переспросил швейцар.

— Мосье Харламов. Он наверно здесь. Не могу ли я...

— В настоящее время гостей нет.

«Тоже, очевидно, все знает!» Ксения Николаевна совсем разбитая вышла из сада и побрела тою же дорогой, какою пришла. Она так устала за этот день от тоски и недоумения, что была уже не в силах думать. Машинально спустилась в метро. Машинально вылезла на той остановке, где был отель. Но возвращаться в отель казалось ужасным. Опять — итальянец, опять — чернокожая... Улыбки, уклончивые фразы... «Новое счастье!». Села за столик перед плохеньким кафэ; спросила пива, и стала с утомительным вниманием рассматривать голубые воротники, бескозырки, для чего-то перевязанные поперек белой тесемкой и красные помпоны двух сидевших за соседним столиком матросов. «Новое счастье!...» Вдруг она заметила, что и матросы на нее смотрят: пересмеиваются. Гарсон тоже странно глядит. Неужели и они все уже знают, что Ганя на баронессе женится и что она, Ксения Николаевна, сейчас швейцара этой баронессы расспрашивала?.. «Сегодня свадьба» — вспомнила она. — «Надо идти, надо спешить»... Бросила на столик деньги и почти выбежала из кафэ.

Русская церковь, она знала, была тут, не очень далеко. Ей и в голову не пришло, что баронесса, вероятно, неправославная, что, если и будут венчаться в русской церкви, то их в городе много. Что, наконец, едва ли невеста в день свадьбы стала бы назначать ей свидание. От бессонной ночи в вагоне, от выпитого натощак пива, от безумной, все усиливавшейся тревоги — мысли ее окончательно смешались. Она знала только, что ей нужно туда, именно в эту церковь. А что будет потом — неизвестно. Совсем неизвестно. ...«Новое счастье!»

В церкви было темно: всего несколько лампадок да свечей там и сям, разрозненно. Народу — почти никого. Откуда-то спереди, справа, доносился одинокий старческий голос:

— «Покой душу усопшего раба Твоего!»

Там было светлее: несколько человек стояло с зажженными свечами. Расползались полосы ладана.

В притворе у свечного ящика возился, запирая его, маленький старичок с длинной, по пояс, бородою.

— Что сегодня, после вечерни, венчание будет? — спросила его Ксения Николаевна.

— Вечерня отошла, — не слишком приветливо отозвался старик.

— А венчание?

— Венчания никакого сегодня нет. Панихиду вон отец Василий служит. По генерале, что намедни скончались.

— «В месте злачне, в месте покойне»... слабым просительным голосом произносил священник.

— Вам исповедаться, что ли? — Старик смотрел на нее неодобрительно.

— А вчера? — не отвечая, спросила Ксения Николаевна.

— Что «вчера»? — уже совсем рассердился сторож. — Вчера отец Василий не служил. Вчера владыка приезжали...

— А венчания вчера не было? — не слушая, перебила Ксения Николаевна.

— Да я же вам говорю, что не было!

Ксения Николаевна постояла, прислушиваясь к заунывному пению.

— А что баронесса Цигенау бывает здесь? — спросила она опять.

— Так вам баронессу нужно? — Сторож даже обрадовался, наконец поняв, зачем эта странная дама к нему пристает. — Так бы и говорили. Баронесса и сейчас здесь была. Разве — вышла? Посмотрите впереди, может, — на панихиде.

Ксения Николаевна почувствовала, что сердце ее на секунду остановилось. Стараясь тихо ступать, она пошла вперед. Здесь, у самого амвона, слева, за образом Богородицы, она вдруг увидела маленькую старушку в черном, давешнюю спутницу баронессы. Баронессы с нею не было. Старушка разговаривала с монахом. Ксения Николаевна остановилась поодаль, ожидая пока они кончат. Они не заметили этого и продолжали. Наконец, монах, простившись со старушкой, ушел в алтарь. Старушка поплелась к выходу.

— Простите, — подойдя к ней, шепнула Ксения Николаевна, — если не ошибаюсь, я только что видела вас в автомобиле с баронессой Цигенау. Она здесь?

— Это я, сказала старушка, взглядываясь в взволнованное лицо Ксении Николаевны своими старчески-выцветшими грустными глазами. Рот у нее был большой и как-то слишком плотно закрытый. Вместе с печальным взглядом это производило впечатление, будто она изо всех сил крепится, чтобы не заплакать.

— Это я, — повторила, видя, что Ксения Николаевна отказывается верить. — Выйдемте.

Своей прихрамывающей, тяжелой старушечьей походкой она пошла к двери. В притворе остановилась, повернулась к алтарю, и долго, усердно крестясь и шепча, кланялась. «Со святыми упокой»... доносилось с правого клироса.

— Пойдемте, — шепнула баронесса. Они вышли из церкви.

Придерживаясь за перила, старуха стала осторожно сходить с лестницы.

— Вы у меня нынче не были? — Этим посторонним вопросом она давала понять, что время для решительного разговора еще не пришло.

— Я была, но вас не застала: вы как раз выезжали.

— Не от себя я, родная, завишу, — спустившись и взяв Ксению Николаевну под руку, продолжала баронесса. — Велит — надо ехать. Я, впрочем, не жалуюсь: она со мною всегда корректна.

— Вы... — начала Ксения Николаевна. Сердце ее продолжало находиться в каком-то мучительно-неустойчивом равновесии.

— Я компаньонкой у нее, — ответила баронесса.

Обе, не находя безопасных слов, помолчали.

— Вашего письма я не получила, — сказала Ксения Николаевна.

— Не получили? — удивилась старуха. — Вот оно что! Теперь понимаю... Куда же мы с вами? Ко мне или к вам?

— Куда хотите. — Ксения Николаевна чувствовала, что баронесса совершенно точно знает, где именно и когда начать разговор, и что ей самой ни в каком случае нельзя проявлять своеволия. Это давно, может быть с детства, не испытанное чувство давало успокоение. Как избалованному ребенку, ей было легче оттого, что она, наконец, попала в твердые руки.

— Пойдемте к вам в отель, — сказала баронесса. — У меня же к ним и дело есть.

Пока шли, старуха не начинала разговора; Ксения Николаевна, невольно ей подчиняясь, тоже молчала: эта незнакомая женщина с каждой минутой приобретала все большую власть над ее непривыкшей к дисциплине, строптивой душой.

Но временами она выходила из-под ее власти, и тогда мысли опять сбивались.

«Как странно», — думала она с напряжением, — «я на свадьбу шла, а они «Со святыми упокой» поют. И неужели вот эта старушка — ганина невеста?»

Начал накрапывать дождь.

— Жаль, я зонтика не взяла, — сказала баронесса. — Ну, да ничего, там у него, чай, найдется.

В ее манере говорить была странная смесь барства и простонародности. Минутами Ксении Николаевне казалось, что она вовсе не баронесса, а просто — строгая, но любящая ее няня.

Вошли в отель. Итальянец почтительно поклонился баронессе.

— Счет у вас для мосье Харламова приготовлен? — спросила она с тою вежливой простотою, с которой воспитанные люди обращаются к прислуге.

Итальянец побежал в бюро и подал ей бумагу.

— Нет, я — пешком: сердце не выносит, — сказала баронесса про лифт.

Неслышно, потихоньку пошла вперед. Ксения Николаевна, измученная напряженным ожиданием, не способная думать — за нею.

Войдя в номер, старуха зажгла электричество; заперла дверь; перекрестилась.

— Теперь потолкуем, — сказала, тяжело дыша. Села в кресло; близко к нему придвинула другое, для Ксении Николаевны. — Вы вот что мне, родная, прежде всего скажите: в Господа-то вы веруете ли?

— Верую... Только — плохо! — дрогнувшим голосом ответила Ксения Николаевна.

— Ну, да, — одобрительно на ее ответ кивнула баронесса; — мы все плохо веруем. Я, матушка Ксения Николаевна, — русская, как вы, православная. Это я по мужу-покойнику — Цигенау. А сама-то — коренная москвичка. 72 года вот на свете живу. Всего насмотрелась. — Она помолчала, как бы соображая, что еще надо сказать. — Я с вами, как с дочерью, теперь говорить стану, — прибавила без всякой аффектации. — А что тяжело покаместь, — так не беда: скорби Господь посылает тем, на кого надеется. — Она опять несколько секунд помолчала. — Видели вы его? — вдруг спросила. Очень тихо, но прежним спокойным тоном.

— Нет, — прошептала Ксения Николаевна.

Баронесса положила свою руку на ее.

— Знаю, что не видели, сразу поняла: Господь не допустил. И вас пожалел, и его: это он возле меня в церкви стоял.

— Ганя?!

— Брат Агафангел.

Ксения Николаевна так побледнела, что, казалось, сейчас упадет.

Старуха крепко сжала ее руку:

— Ничего. Это ничего. Скорби — от Бога, — произнесла она отрывистой скороговоркой. — Воды выпейте.

Быстро наполнив стакан, она поднесла его к ее губам. Ксения Николаевна послушно отпила.

— Брата Агафангела сейчас, когда мы с вами говорим, уже нет в Париже, — не давая ей опомниться, продолжала баронесса, — прямо после вечерни к батюшке отцу Геннадию уехал. Слыхали об отце Геннадии?

— Нет, не слыхала, — как автомат произнесла Ксения Николаевна.

Баронесса по-прежнему не спускала с нее глаз:

— Батюшка, о. Геннадий. получил для обоих разрешение вернуться на родину.

— В Россию? — с ужасом спросила Ксения Николаевна.

— Подвиг не малый, — что и говорить! Только, верьте, не смог бы он дольше здесь выдержать. — Старуха поникла головой, опустила глаза на свои вместе сжатые на коленях руки. Потом ее печальный взгляд опять поднялся на Ксению Николаевну: — Ну, а вы-то, как располагаете? — И сейчас же, будто получив ответ, кивнула головой. — Разумеется, — поезжайте себе с Богом домой. Сынку-то сколько? Десять? Большой уж. Ваше место — с ним. С ними обоими. Помните это. Крепко помните. У меня два сына было. Оба на войне убиты. Дочь семнадцати лет, красавицу — большевики замучили. Мне 72 года, матушка Ксения Николаевна, — опять почему-то, как самый убедительный довод, привела она свои

годы. — А вам еще есть на кого работать. Просите, чтобы силы дал. Мешкать нечего, нынче же и поезжайте. Поезд-то есть теперь?

— В десять двадцать.

— Вот и хорошо. Вместе поедем. Провожу вас: я на весь вечер отпросилась.

Она встала и быстро, почти не говоря больше с Ксенией Николаевной, но продолжая зорко за нею следить, стала вынимать и укладывать оставшиеся харламовские вещи.

— Ну, пора нам, — сказала, когда все было уложено, и позвонила. Пока она давала распоряжения о вещах и расплачивалась, Ксения Николаевна стояла около нее неподвижно со своим саком в руке.

Баронесса послала за такси.

Во время пути она не переставала говорить что-то успокаивающее.

От волнения Ксения Николаевна не могла слушать: она только смертельно боялась, что такси вот-вот остановится, они приедут на вокзал и надо будет расстаться с баронессой.

Вот и вокзал! Остановились. Сейчас она останется одна. Совсем одна, как потерянный в чужом городе ребенок.

— Ну, Христос над вами! Дайте — благословлю, — сказала старуха, когда Ксения Николаевна нагнулась к ней из окна вагона. — Не плачьте. Говорят — «выплакаться». Глупости. Выплакаться нельзя. Где там все слезы выплакать: ими душа до краев полна. Терпеть надо. Терпеть — вот это наше бабье дело, настоящее. А слез не выплачешь.

Поезд уже трогался. Ксения Николаевна, изо всех сил крепясь, глядела на неподвижно стоявшую, и все-таки с каждой секундой удалявшуюся от нее баронессу.

обещание

С Наталией Владимировной Назаровой Аркадий Александрович познакомился еще задолго до войны. Ей было тогда не больше тридцати. Ему — под пятьдесят. Впрочем, разница лет не очень бросалась в глаза. И не то, чтобы Аркадий Александрович молодо выглядел. Или — молодился; это-то уж — никак. Но было в его наружности, да и во внутреннем складе, что-то годами не изменяемое, вневременное.

Высокий ростом, узкий в плечах, худой, он уж лет десять носил один и тот же темный костюм, а казался хорошо одетым. Свои седеющие волосы он гладко зачесывал назад, усы и бороду брил; сухое скульптурное лицо было все на виду. Глаза (темно-синие, в черных ресницах) даже позже, в старости, когда они уже совсем выцвели — оставались прекрасными.

Он нервно подергивал головой и плечами. Руки, когда он развинчивал стило или листал записную книжку, дрожали мелкой, едва заметной дрожью.

Аркадий Александрович занимался литературой. Много писал, но печатался мало. Работал в редакции одного распространенного тогда журнала. Это был человек совсем особенный, на других непохожий. Склонный к таинственному, к сверхъестественному. Охотно рассказывал свои сны (иногда чрезвычайно любопытные); охотно говорил о предчувствиях...

Людей обыкновенных, житейски настроенных, он раздражал.

— Если сверхъестественное существует, то почему же оно с нами не происходит? — возмущенно спрашивали одни. Другие подшучивали над ним, смеялись; называли чудаком.

Встреча с Назаровой была в жизни Аркадия Александровича событием. Исключительность этого события он почувствовал, — как только ее увидел. Между тем, в наружности Наталии Владимировны ничто не поражало. Ее никак нельзя было назвать красивой. Шарм ее, как скромный запах резеды — улавливался немногими: спокойная женственность каждого движения; спокойный, очень женский ум проявлявшийся в немногословных высказываниях; большая интуитивность. Вот и все.

Войдя как-то вечером в одну литературную гостиную, Аркадий Александрович сразу заметил незнакомую ему бледную молодую особу в темно-синем платье. Она сидела поодаль от других, разговаривая с пожилой дамой. И только он ее увидел, овладело им одно давнишнее воспоминание. (Воспоминания вообще имели над ним чрезвычайную власть). Ему припомнилась бессонная ночь в Москве, которую он, четырнадцатилетний мальчик, провел перед отворенной в морозную ночь форточкой.

Когда все пошли в столовую, он задержал хозяина:

— Кто эта девушка?

— Какая «девушка»? Разве вы с нею не знакомы? Это жена Назарова.

— «Жена»? — Удивление, с которым он произнес это слово, заставило хозяина улыбнуться. Не спуская глаз со стоявшей в столовой Наталии Владимировны, Аркадий Александрович почти с ужасом прибавил: — Жена!.. Да еще — Назарова!

— Этим летом женился, — сказал хозяин. — Три раза предложение делал; чуть ли не застрелиться грозил. Ну, она, наконец, и сжалилась. Ей в угоду не пьет теперь и карты бросил. Пойдемте, познакомлю.

— Нет, зачем так торжественно! Не стоит... — А у самого сердце, как у юноши, замерло.

В этот вечер Аркадий Александрович много говорил. Навел разговор на воспоминания; на таинственную роль, кото-

рую они играют в жизни. Заметил, между прочим, что воспоминания нередко бывают чреваты предчувствиями. Многие не поняли: «Как это?»

В качестве примера он рассказал тот московский случай, о котором, увидав Назарову, вспомнил.

Он был тогда в пятом классе гимназии. На Рождестве отец взял ложу в Большой театр. Давали «Евгения Онегина». Вернувшись в этот вечер домой, гимназист заперся в своей комнате, бросился, не раздеваясь, на кровать и, зарывшись в подушки, судорожно зарыдал. Эту ночь он не смыкал глаз. Он то метался по комнате, то отворял форточку и, разгоряченный, взволнованный, всею грудью восторженно вбирал морозный воздух. Ночь была волшебная: сверкающая, искристя. Единственная, неповторимая, никогда не повторившаяся ночь! Под утро, продрогший, и вместе охваченный внутренним жаром, с сознанием, что с ним случилось что-то громадное, он записал в свою клеенчатую тетрадку: «Судьба моя решена. Обещаюсь — всю жизнь оставаться тебе верным».

На этом месте рассказа Аркадий Александрович, смущенно улыбаясь, замолк.

Среди слушателей многие смеялись.

— Кому же вы обещали верность? — спросила одна из дам.

— Татьяне, конечно! — Артистке, которая ее пела! — посыпались догадки.

— Не знаю... Татьяна, — ведь это единственный во всей нашей литературе образ совершенной женственности. А артистка, — она была полным, удивительным его воплощением. — Аркадий Александрович посмотрел на молча, не поднимая глаз, слушавшую Назарову. — Но теперь мне кажется, что я обещал это, — тогда еще неизвестной мне женщине, про которую знал, что когда-нибудь встречу.

— Что же, встретили? — Неужели сдержали обещание? — приставали к нему со всех сторон. Аркадий Александрович продолжал смущенно улыбаться.

— Сдержал ли? Конечно, нет. — Он помолчал. — Впрочем, если хотите... То есть, если говорить в высшем смысле, — сдержал.

Он опять посмотрел на Назарову, Она по-прежнему на него не глядела. «Но она поняла!» — это он всем существом почувствовал.

— А на следующее утро, представьте, — продолжал он с новым порывом, — на следующее утро я не мог подняться с постели: страшно болела голова, кололо в боку. Смерили температуру, — сорок! Доктор определил воспаление в легком... Эта болезнь — счастливейшее время моей жизни. Я знал, что почти наверно умру, и не боялся. Даже хотел умереть. И одновременно, — безумно, страстно хотел жить. Это кажется несообразным. Но я так чувствовал. И какую полноту, какое богатство это мне давало!

— А как только поправились, сейчас же побежали брать билет на «Онегина»? — спросил кто-то.

Аркадий Александрович отрицательно повел головою.

— Вы ошиблись! Скоро после этого одни знакомые пригласили меня в свою ложу. Узнав, что идет «Онегин», я отказался.

Кругом засмеялись:

— Почему? — Совершенно непонятно! — Парадокс какой-то. Вы, Аркадий Александрович, вообще человек парадоксальный.

Аркадий Александрович встал и подошел к Назаровой.

— А вы тоже думаете, что это парадокс?

— Мне кажется, что иначе вы поступить не могли.

Этот именно голос — грудного тембра, контральто он и ожидал услышать. И этот именно ответ.

За весь вечер они не сказали друг другу больше ни слова. А когда она уходила, и муж в передней подавал ей пальто, Аркадий Александрович вышел за ними. Обращаясь только к ней, спросил:

— Можно мне придти к вам в гости?

— Можно. — Она смотрела на него без улыбки. В глазах был испуг, перед внезапно нахлынувшим счастьем. — Приходите!

Аркадий Александрович поцеловал ее руку и, позабыв проститься с Назаровым, вернулся в гостиную. «Если бы она сказала: «милости просим» или «мы с мужем будем очень рады», — я бы к ней не пошел», — думал он. — «Приходите!» Простое слово, совсем просто произнесенное. «Приходите!» — какой горячий призыв.

Так началось то, что они называли — их дружбой. Аркадий Александрович стал часто бывать у Назаровых, делился с Наталией Владимировной всеми мыслями и чувствами, читал ей наброски своих статей. Она понимала с полуслова, угадывала то, что ему не удавалось выразить. В каждом ее вопросе, в каждом вдумчивом замечании, Аркадий Александрович с восторгом открывал все новые сокровища... Однако, постоянное присутствие Назарова в его же собственной, назаровской, квартире, — его раздражало. Иной раз он готов был его ненавидеть.

Война все это прекратила и надолго их развела. Наталия Владимировна, еще до прихода немцев, уехала с мужем к его родственникам в провинцию. Аркадий Александрович первое время оккупации оставался в Париже; потом переехал к одним знакомым, жившим в окрестности. В разлуке с другом он сильно тосковал. Да и годы эти для людей, как он, были мало подходящими.

Дней за десять до ухода немцев, Аркадий Александрович, как и другие мужчины того городка, получил из мэрии повестку, — явиться на следующее утро, к семи часам, на городскую площадь, чтобы рыть окопы; он пошел, но протестовал, и в разговоре с немецким офицером наговорил лишнего; добродушный старичок-мэр едва эту историю замял. А Аркадий Александрович, как только немцы ушли, — в новую впутался: вздумал самым решительным образом заступиться за молоденькую девушку, дочь соседнего мясника, которую,

за то, что с оккупантами зналась, поймали, наголо обрили и, при общем хохоте, начали по улицам водить. Его, конечно, арестовали: заступается, значит, — коллаборант. Старичок-мэр помочь не мог: сам в коллаборанты попал.

Но тут как раз Назаровы вернулись. Наталия Владимировна начала энергично хлопотать, Аркадия Александровича выпустили, он перебрался в Париж, — и все пошло по-старому.

Эти годы Наталию Владимировну сильно изменили. Она казалась гораздо старше своих лет, пожелтела, поблекла. В густых русых волосах сильная проседь появилась.

Но Аркадий Александрович этого не замечал. Для него она все еще была тем «воплощением женственности», тою «его Татьяной», которая много лет назад, в чужой передней, на его наивный вопрос, можно ли ему придти к ней в гости, ответила таким же наивным — «можно».

Казалось, — и не было ни войны, ни разлуки. Опять среди окружающих, они жили вдвоем своею обособленной, для других невидимой жизнью.

Отношения Аркадия Александровича с Назаровым тоже остались прежними; он его едва выносил, а тот — никакой вражды к другу жены не чувствовал: ведь он знал, что она ему не изменяет. По-своему, — он жену любил. Но душевными состояниями ее не интересовался, и никогда не спрашивал себя ни о том, счастлива ли она с ним, ни — какое чувство связывает ее с Аркадием Александровичем.

Он и всегда был скучный и нудный человек, хотя вовсе не дурной. С годами все больше тяжелел. Ничем не интересовался, ничего, кроме газет, не читал. А когда при нем начинали говорить «о высоких материях», — зевал или отправлялся спать. Сильно обрюзг, стал рыхлым, как разъезженный снег. Одевался неряшливо: галстук — на сторону, рубашка — всегда измята.

И вечно он теперь ворчал, вечно жаловался. То — на зубного врача: «запломбировал, не вылечив»; то — на парижский климат: «хандру наводит»; то, наконец, — на жену:

«хуже нет, как если женщина вообразит, что она способна понимать философию». Он часто терял место; тогда на французов и на их ксенофобию жаловался; а Наталии Владимировне приходилось выносить его скверное настроение и подрабатывать перепиской на машинке.

Мало-помалу общественная жизнь русского Парижа опять наладилась. Правда, — не в прежнем масштабе. Многих уже не было: кто — умер, кто — в Америку уехал. Меньше стало журналов, меньше собраний. По-прежнему, однако, то у того, то у другого сходились. Говорили больше о злободневном. Такое уж время было. Иногда, впрочем, не только о злободневном.

На одном довольно многолюдном собрании в частном доме речь зашла о том, что в нашу эпоху психология человека и отношения между людьми коренным образом изменились. Смешно, например, говорить теперь об «идеалах» или, скажем, о «вечной любви».

Кто-то заметил, что невозможность любить вечно сознавалась и раньше. Процитировал Лермонтова:

«...На время — не стоит труда,
А вечно любить — невозможно...»

На эту тему завязался спор. Большинство — главным образом молодые — говорили, что, даже в Средние века и в эпоху романтизма, вечная любовь была больше ничего, как филистерство.

Другие спорили: — Вовсе не филистерство. Тут религия влияла. Третьи «временную» любовь под защиту брали: — Почему «не стоит труда»? Все на свете временно!

Какой-то шутник заявил, что ему лично — «любить» (он перевел «faire l'amour») большого труда не доставляет.

Серьезно заступался за вечную любовь — один Аркадий Александрович. Он говорил, что верность в любви, как и во всем остальном — большая редкость. Даже такие исключительные души, как Жуковский, узнав большую любовь, довольствовался потом — маленькою. Лермонтов сохранил бы, может быть, верность предназначенной ему женщине, но он

этой женщины не встретил. Счастлив тот, кто встретил, и кому дано остаться верным до гроба.

Среди поднявшегося шума вопросов, возражений, смеха и шуток, едва ли кто слышал, возникший между ним и Назаровой короткий, быстрый обмен почти шепотом произнесенных слов. Они сидели рядом. Она опустила на колени альбом гравюр, который рассматривала, и, глядя перед собой, к нему не обращаясь, едва слышно произнесла:

— Почему «до гроба»? Любила до гроба, — так буду любить и после.

— Я надеюсь, что умру первый, — пробормотал он в счастливом смятении.

Когда стали расходиться, прощаясь с нею, он не удержался и с особенным выражением спросил:

— Так завтра, не правда ли?

Она хотела что-то возразить, но не успела: подходили прощаться, муж торопил.

На другой день Аркадий Александрович едва дождался вечера. Идя к ней, думал: «Вчерашними словами мы — как кольцами обменялись. Мы обручены».

Она была дома, одна. Отворив ему, избегая его взгляда, сказала:

— Входите, входите! Я сейчас: две строчки осталось.

Села за машинку и начала быстро стукать.

— Я помешал вам? — спросил он, когда, достукав, она вынимала лист.

— Ничего. Завтра кончу... Хотите чаю?

Он не сразу ответил. Такого ли приема, такой ли встречи он ожидал?

— Чаю? — переспросил потом. — Нет, спасибо.

— А то — выпьем? — Она явно не находила, что сказать.

— Не хочется.

Он не спускал с нее глаз; с несвойственной ей торопливостью, она закрывала машинку, приводила в порядок рукопись и копии.

— Муж сейчас вернется, вышел за вечерней газетой.

«Боится, что я заговорю о вчерашнем», — с горечью подумал Аркадий Александрович.

— Что с вами? — спросил он мягко. — Отчего вы сегодня такая...

— Вам показалось.

Он хотел продолжать, но она перебила:

— Право, — ничего нет. Я... я просто немного беспокоюсь о его здоровье: он опять кашляет, бедный... И доктор говорит...

— Вы вечно за него беспокоитесь, — не в силах больше сдерживаться, раздраженно перебил Аркадий Александрович. — «Бедный», «несчастный»!.. Жалость — чувство очень близкое к любви, Наталия Владимировна.

Она посмотрела на него печально:

— Какой вы скупой! — В упреке, помимо воли, звучала нежность. — Скупой богач!

Тут, как нарочно, вернулся Назаров. Она, казалось, была рада, что решительный разговор их на полуслове прерван. Аркадий Александрович обошелся с Назаровым оскорбительно сухо, и сразу ушел.

Это была их первая, их единственная размолвка. Вернувшись домой, он написал ей страстное, сумасшедшее письмо. Сперва — осыпал упреками, потом каялся, просил простить, пожалеть... Разве он чего-нибудь требует? Жалуется разве на глупую роль какого-то безнадежного вздыхателя, которую ему приходится столько лет разыгрывать? Ее вчерашние слова обрадовали его, как милостыня, как долгожданная награда за бесконечную рабскую преданность. ...Он стар, не сегодня-завтра умрет. Было одно утешение — думать, что после его смерти, она не изменит тому чувству, которое их связывало. Сегодня она это утешение у него отняла. Сегодня он понял, что чувства с ее стороны нет никакого, что она любит и всегда любила одного только мужа...

На это длинное сумбурное письмо она ответила несколькими строками:

«В тот вечер я сказала: «Любила до гроба, — буду любить и после». От слов моих не отказываюсь. Но Вы их не поняли: я не о *Вашей* смерти тогда думала, а о *своей.* Я обещала, что, когда умру, — не перестану любить Вас».

Прочитав, Аркадий Александрович закрыл обеими руками лицо и остался неподвижен. «Вот высшая минута моей жизни», — думал он. — «Теперь бы — умереть».

А сам в тот же вечер, волнуясь, как влюбленный мальчик, спешил к ней, мечтая застать одну.

По дороге он вспомнил, что в письме было какое-то P.S. Вынул его и прочел:

«Говорить о том, что я вам написала — не будем. Постараемся оба загладить нашу вину перед ним».

Эта приписка возмутила Аркадия Александровича: опять —*он!* Никакой вины он перед Назаровым не чувствовал. И почему — «не будем говорить»? Зачем отказываться от этого счастья?

Было еще слишком рано, около шести, когда он сошел с автобуса: в это время она иногда ходила за покупками. Пришлось бы встретиться наедине с Назаровым. Нет, этого он не мог. Моросил частый дождь. Не на улице же ждать?

Недалеко от их дома, на углу широкой авеню, было большое кафэ. Аркадий Александрович зашел. Сел за столик: задумался. Довольно много народа; накурено; играет музыка. Подошедшему гарсону он сказал:

— Un café nature.

Когда тот, поставив перед ним чашку, отошел, он бессознательно обвел глазами столики и — вздрогнул. Наискось от него, в глубине большой комнаты, спиною к нему, сидел Назаров.

Волнение, которое охватило Аркадия Александровича, как только он его увидел, было ни с чем не сообразно. Он до испуга удивился: «Как? Он — тут?»

Ничего странного эта встреча в себе не заключала. Назаров иногда заходил в ближайшее кафэ выпить, без жены, лишний стакан вина. Его присутствие здесь давало Аркадию Александровичу возможность застать Наталию Владимировну одну. А он, между тем, не двигался с места. Глядя на не видящего его Назарова, испытывал тяжелую, беспричинную тревогу. Эта необъяснимая тревога была ему знакома: она находила на него ночью, в пустынных корридорах метро, или когда он смотрел на полуразрушенные бомбардировкой дома с зияющими отверстиями окон. Но никогда еще это не было так сильно, как сейчас.

Он взял свою чашку и перешел на другое место. Здесь, если бы Назаров и оглянулся, он бы его не увидел: их разделяла невысокая перегородка. Из-за этого прикрытия он начал осторожно за ним следить.

Назаров был не один. Напротив него, лицом к Аркадию Александровичу, сидел неопределенного возраста человек в черных очках, с уродливо маленьким носом и огромным лбом, переходящим в голый череп. Этот человек, улыбаясь, скалил на Назарова свои крупные желтые, неплотно всаженные в десны, зубы.

«Чего он улыбается... этот лысый?» — в смятении подумал Аркадий Александрович. Руки его начали дрожать. — «Что со мною? Что такое тут происходит?.. И эта проклятая музыка... Эти люди кругом...»

Бросив на стол деньги, он вдруг встал. Прямо пошел в тот угол, где они сидели. Опасность своего предприятия отлично сознавал.

Назаров оглянулся, и Аркадий Александрович к ужасу своему увидел, что и он улыбается.

— Идите, идите к нам! — в какой-то торопливой ажитации, пододвигая ему стул, сказал тот. — Ведь вы знакомы?

Аркадий Александрович не ответил; молча поклонился и сел. Лысый, не поворачивая к нему головы, тоже поклонился.

— Вот, я предлагаю ему пари, — заспешил Назаров объяснить. — Дело в том, что сегодня розыгрыш.

— Пари? — не веря ушам, переспросил Аркадий Александрович. — О чем пари? Какой розыгрыш?

— Национальной лотереи. Сколько раз ни брал, — никогда ничего не выигрывал. Но сегодня... Сегодня у меня, в первый раз в жизни, — доброе предчувствие!

Состояния Аркадия Александровича Назаров не замечал. Ну, а лысый, пожалуй, и замечал: что-то злорадное было в его улыбке.

— Вот увидите, что выиграю! — продолжал Назаров. — Как только узнаю, сейчас же вам обоим протелефонирую. Обязательно. А вы — будьте свидетелем нашего пари.

«Тот все молчит. Молчит и скалится», — думал Аркадий Александрович, тщетно стараясь, за черными очками, разглядеть глаза.

— Вот этот злодей предчувствиям не верит, — кладя свою руку на рукав лысого, сказал Назаров. — Скептик ужасный! Ну, а вы-то, я знаю, верите. Это у вас с моей благоверной — излюбленная тема.

Аркадий Александрович, словно тот толкнул его, подался назад:

— «Благоверная»?! Я не понимаю... Как у вас язык повернулся? И вообще — шутить... *Нам с вами шутить теперь*... И... при нем!..

Назаров мгновенно перестал улыбаться. Он хотел что-то сказать, спросить... Но Аркадий Александрович вскочил и, не прощаясь, решительно пошел к двери. Он весь трясся. Голова на длинной шее непрерывно кивала, упорно поддакивая каким-то своим бредовым мыслям, которых он, Аркадий Александрович, не знал, и не хотел, ни за что не хотел знать.

Не успел он дойти до выхода, как услышал за собою торопливые шаги неуклюжего, грузного Назарова. Им овладело настоящее бешенство. Тот нагнал его у двери.

— Постойте, постойте, — начал он, — за что вы рассердились? Я же вам ничего обидного не сказал...

— Оставьте! Оставьте меня! — Аркадий Александрович крикнул это так громко, что многие оглянулись. Потом он

выскочил наружу. Отбежав по авеню шагов десять, оглянулся: не гонится ли?

— Возмутительно! — бормотал он вслух. — Просто — возмутительно! И к чему он этого «персонажа без речей» с собою привел. На подмогу, что ли? Хороша подмога!

Поворачивая за угол, он почти наскочил, на шедшего навстречу знакомого, инженера Тулякова.

— Представьте! — сказал он, задерживая инженера, — представьте, видел сейчас, вот тут в кафэ, — Назарова. Сидит там с этим лысым и — улыбается! Как ни в чем не бывало!

— Что такое? С каким «лысым»? — спросил удивленный инженер.

— Если вы неспособны... — запальчиво начал Аркадий Александрович. Но тотчас опомнился: — Оставим, ради Бога, оставим! — закричал он страдальчески. — *Те* приставали, теперь — *вы!*

Бросив ничего не понимавшего Тулякова, он пустился дальше. О Тулякове тут же забыл: «Туляков не имеет значения. Назаров ни в чем не виноват. Всю эту дьявольскую историю — *тот* затеял. Себе — главную роль взял, статистом — только прикидывается. Что-то знает. Чем-то грозит. Если знает, — скажи прямо: лучше что угодно услышать, чем выносить это издевательское молчание. Чем может он грозить нам, мне и Назарову? Что у него там, за этим молчанием, за черными очками спрятано»?

Тут только Аркадий Александрович заметил, что идет не к Назаровой, а на автобус, чтобы ехать к себе. Остановился; подумал. Нет, идти *теперь туда* было невозможно. Почему — не знал. Невозможно!

Но едва автобус, в который он сел, тронулся, как его поразила мысль: тем, что не пошел к Назаровой, он сделал ужасную (непоправимую, может быть) ошибку. Сегодня же вечером, сейчас, ни на минуту не откладывая, должен он был ее встретит. Жгучая потребность все ей рассказать — безраздельно им овладела. Преувеличивая свою вину перед

Назаровым, мучаясь ею, как совершонным преступлением, он, в первый раз за все эти годы, испытывал щемящую жалость к постоянно обижаемому им человеку, которого, Бог знает почему, ненавидел.

Он готов был выскочить из автобуса, ехать обратно. Но сознание, что идти *туда* ни под каким видом нельзя, — удержало. Терзаясь очевидной невозможностью встретиться с нею, доехал он до своей остановки.

Тут, только вышел, только в конце улицы увидел свой дом, вспыхнула надежда: она могла зайти к нему; она, может быть, там его дожидается! Это было мало вероятно: Назарова, хотя и имела второй ключ от его комнаты, заходила к нему довольно редко. Но Аркадий Александрович изо всех своих, уже слабеющих, сил, — вцепился в эту последнюю надежду. Она тотчас стала в нем уверенностью. Задыхаясь, тяжело чувствуя свое сердце, по-стариковски беспомощно торопясь, — вбежал он в вестибюль, бросился в клетку подъемника, нажал кнопку третьего этажа. Лифт еще не остановился, как он, сквозь решетку, уже увидел, что привесного замка на его двери нет. (Сам же, уходя, забыл запереть, но этого не помнил). Она — здесь, ждет. Сейчас он все ей скажет.

Дернул дверь и — остановился: в комнате было темно. При падавшем из корридора свете, он уидел, что там никого нет. Но это смутило всего на секунду. Вошел, быстро затворил за собою дверь.

Со двора проникал сквозь окно слабый, рассеянный свет. Аркадий Александрович едва различал знакомые предметы. Он остановился среди комнаты, слегка развел руками. Улыбался в темноту простоватой улыбкой радостного изумления.

— Это что же такое? — произнес он тихо. — Как понят?.. Я не вижу вас, но вы — здес? Я.. я счастлив... Голову от счастья теряю... Ведь вы мне сейчас — необходимы. Больше, чем когда-либо. Просто — не могу без вас. Вот вы, сжалившись, и нашли этот способ. А мне, не видя вас, легче все сказать. То, что я скажу — ужасно. Но вы — простите. Вы должны простить. Слушайте! Сейчас, всего полчаса на-

зад, я опять — и на этот раз жестоко — оскорбил его! Да, да, несмотря на все ваши просьбы, несмотря на приписку вашего письма! Я сказал ему, что он не достоин называться вашим мужем, что он загубил вашу жизнь, что вы — одного *меня* любите... Я Бог знаете что наговорил ему, да еще — при постороннем! Увидав их, — я потерял рассудок. Он... он был там с каким-то господином в черных очках. Знакомый его, должно быть... Слепой, что ли? Не знаю... К стулу, кажется, была прислонена белая палка... Но — обыкновенный, конечно, человек... А я, представьте, вообразил... Мне померещилось, будто он... Ах, зачем рассказывать! Ведь это — бред!

Свои взволнованные восклицания Аркадий Александрович произносил вполголоса: словно боялся, что кто-то третий его подслушает.

— Это не повторится, обещаю вам! Завтра же я пойду к нему, попрошу простить. Не за сегодняшнее только. За все. И никогда уже больше я не буду обижать его! Клянусь вам, клянусь, — сердце мое сейчас совершенно свободно от всякого злого чувства!

Исповедь несказанно облегчила Аркадия Александровича. Устало опустился он в кресло, локтями оперся о стол, спрятал лицо в ладони. Вслушиваясь во что-то неуловимое, подумал: «Она довольна мною».

— Странно, еще сегодня, получив ваше письмо, я рассердился за приписку, — продолжал он спокойнее, понизив голос до едва внятного шепота. — Да, представьте, сегодня, когда шел к вам, я не чувствовал никакой вины перед ним... Ваши слова раздосадовали. — Он крепко прижал ладони к закрытым глазам. — Со стыдом признаюсь: я испытывал ревность. Вы же знаете... Она давно и глубоко засела во мне, как заноза. Жестоко болело. И вот, только теперь, вам удалось ее из меня вырвать, только теперь, после того, что случилось.

«После того, что случилось»? — переспросил он себя мысленно. И вдруг испугался. Сам не знал — чего. Стран-

ность разговора с отсутствующей, сделавшись очевидной, тоже встревожила.

Аркадий Александрович зажег стоявшую на столе лампу; затворил ставни окна. «Что же тут ненормального?» — старался себя успокоить. — «Я просто — думал вслух. Мысли мои были обращены к ней. Это так естественно... И, если мне и казалось, что она меня слышит, то ведь *ее* — я ни слухом, ни глазами не воспринимал».

Он пошел за перегородку, поставил на газ алюминиевый чайник. «Устал я. Есть не могу. Чаю выпью».

Дожидаясь пока вскипит вода, сел в удобное кресло. Стоячая лампа, под низким темным абажуром, бросала неширокий круг света. Комната оставалась в мягких сумерках. Доносились откуда-то, подчеркивая тишину, негромкие звуки.

«Происходящее со мною — необычайно», — думал он, откинувшись на спинку. — «Я не могу отрицать этого. Минутами — жутко. Но не надо поддаваться малодушию. Тут — переход к новому, высшему. Что-то мешало. Внутри меня что-то. Теперь — преодолено. Ее любовь сливается с моею в один, неудержимо уносящий нас, тихий могучий поток. В нем — покой, в нем — предчувствие ни с чем не сравнимой радости»...

Внезапно разбуженный, в испуге, Аркадий Александрович не сразу понял, где он и что с ним творится. Прерывистый, отчаянный звонок трещал над самой головой... Комнату наполнял клубящийся туман...

«Это — телефон», «это — чайник на газе выкипает» — внесла действительность свои торопливые поправки. Аркадий Александрович сорвал трубку. «Лишь бы унялся, лишь бы перестал трещать»... «Назаров — больше некому: выиграл видно».

Слов сначала разобрать не мог. Не узнавал и далекого возбужденного голоса. Слышал только, что говорят по-русски.

— Назаров, это вы? Вас плохо слышно.

— Я, понимаете, ничего не знал, — в чем-то оправдывался знакомый, но не назаровский голос. — Вы-то каким образом сразу узнали? Ведь это произошло в половине седьмого, а мы с вами встретились...

— Это Туляков? Что, что «произошло»?

— Так вы не зна-аете? — с испуганным удивлением протянул тот.

— Да говорите же — что!

— Ужасное несчастье, ужасное! Наталия Владимировна — под автомобиль попала.

— Жива? — мог еще произнести Аркадий Александрович.

— Где там! На месте.

Выпущенная трубка, со стуком ударившись о стену, повисла на шнурке. А Аркадий Александрович, хватаясь за кресло, медленно опустился на пол. Мгновенно возникло перед ним: голый череп, зубы оскаленные, провалы пустых глазниц. Но в этом уже не было ничего страшного. Аркадий Александрович вытянулся во всю длину. И замер.

Плавящийся алюминий наполнял комнату удушливым смрадом.

КОМПАНЬОН

Валяев уже месяца три на лесопилке контрметром служил. Ничего — жить можно. С рабочими ладил. Один итальянец полез было пьяный:

— Je veux ta peau!

Валяев его опилками накормил: мордой в кучу ткнул. Унялся.

Хозяин — жирная такая скотина. Красная рожа — прямо медная сковорода. Улыбка салом по ней распускается: «Хо-хо-хо!» Потом, ни с того, ни с другого, ругаться пойдет.

А дочка, мадемуазель Берт, девочка хорошая. С нею Валяев живо сговорился.

Местность не нравилась: горы давят. В четыре часа уже солнца нет. А на дворе осень; тучи, как шапки, на горы нахлобучены. Иной раз такой ветер подымется, что не знаешь, куда от него.

Этот южный ветер на Валяева действовал: злым он от него становился, все раздражало. Работу — хоть брось. То не думал ни о чем, да и думать некогда: с шести до шести, иногда до семи приходилось работать. А вот, как поднимется этот проклятый ветер, так то в голову лезет, чему и не нужно вовсе. Про мать, про братишку Паньку раздумается. Про Россию, — что уж не вернуться туда, где! А тут что? На Берте жениться? Так еще неизвестно, как старая свинья на это посмотрит. Лесопилки все равно не видать: сыну отдаст...

До утра так. Клопы, как собаки, кусают. На дворе черти расплясались, улюлюкают.

После такой ночи, пришел раз на лесопилку. Понедельник был. Хозяин со вчерашнего дня не протрезвился. Рожа — котел котлом. Весь день, как петухи, друг на друга смотрели, того гляди — вцепятся. Так и вышло. Это уж вечером, перед самым концом работы. С чего началось — Валяев и сам потом не помнил. Морда, что ли, хозяйская уж больно противна ему показалась, или тому — его. Только хозяин, грубо выругавшись, обломком доски в него пустил. А через секунду сам в канале барахтался. Канал неглубокий. Вылез — грязный! Потеха!

Сначала Валяев так был возбужден, что и думать не стал. Пошел в кафэ, где всегда ужинал. Это кафэ было в конце селения, за старым каменным мостом через быструю реку.

В слабо освещенной газовой лампой комнате с деревянными непокрытыми столиками, красным огнем рдела чугунная печь. Валяев сел за приготовленный для него прибор. Хозяйка поставила перед ним миску супа, он уже начал есть, как вдруг услышал окликавший его негромкий голос. Тут только он заметил , сидящего возле печки тщедушного маленького человека. Это был monsieur Braguin, как его называли. В действительности же — Брагин, русский. Валяев иногда его здесь встречал. Он жил в небольшой деревушке, в четырех километрах. Возвращаясь из города, пересаживался здесь на другой трамвай, и тогда заходил в это кафэ. Ближе Валяев с ним не сходился; не нравился он ему; чем — сам не знал; несимпатичный — и все.

Но теперь он экспансивно заговорил с ним, пожаловался, что случилась беда, что на лесопилке он больше работать не сможет. Брагин отнесся сочувственно. Он уже отужинал и перебрался за столик Валяева. Слушал молча, внимательно уставившись.

Физиономия у Брагина была такая, будто на нее, по самой середине, каблуком наступили. Нос прижатый к губам, все лицо сплющенное; только бритый подбородок торчит. Под носом усы шевелятся. Волосы — редкие, но довольно длин-

ные, зачесанные назад — сзади топорщатся, как перья больной, нахохленной птицы. Казалось бы, — фигура комическая. Но глядеть на нее было совсем не смешно. Выражение своего лица Брагин менял мгновенно, точно шнурок дергал. Теперь, когда он слушал Валяева, лицо было инквизиторски злое. Подбородок особенно выпятился.

— Мерзавец! — пустил он по адресу хозяина. И лицо его, передернувшись, выразило гримасу отвращения. — Впрочем, — прибавил он с горько-покорной улыбкой, — они все одинаковы.

— А вы по-прежнему на бумажной? — спросил Валяев.

Брагин был в это время занят своим кофе, которое он пил с особым наслаждением. Ответил не сразу.

— На бумажной я давно не работаю, — сказал, оторвавшись, наконец, от чашки и обсасывая усы. — Тоже, знаете, такие негодяи. Директор этот... — Он с досадой махнул рукой понурившись, замолчал. Лицо его приняло странное выражение: он как бы внезапно на что-то внутренне наскочил. Болезненно осторожным жестом пригладил на голове волосы и, словно кому-то отвечая, глухо произнес:

— Да, да, мылом.

— Что? — переспросил Валяев.

— Нет, ничего... — несколько замялся тот и шмыгнул глазами в угол. — Я, знаете ли, начал было собственное дело.

— Какое? — заинтересовался Валяев. — Мыло, что ли, варите?

— Какое мыло? с чего вы? — переполошился Брагин. — Я... я бигуди делаю.

— Это что же такое?

Брагин достал из кармана и передал Валяеву небольшой, вершка в два, предмет, похожий по форме на огурец. Рассмотрев его, Валяев увидел, что он состоит из отдельных, обтянутых лайкой, узких долек.

— Для завивки волос, — пояснил Брагин. — Дамам. А то — лошадям. Хвосты и гриву. Только для лошадей значительно большие номера употребляются.

— Так это вы и изготовляете? Что ж, хорошо идет?

Брагин вынул кисет и листочки папиросной бумаги.

— Как вам сказать? Сначала пошло было недурно. Да тут одно привходящее обстоятельство явилось... — Опять внутренне обо что-то с рзбега ударившись, запнулся. Сделал вид, что занят накладыванием табака на бумажку.

— У меня, изволите ли видеть, был компани-он. Русский один. Некто Вобла. Странная, не правда ли, фамилия?

Брагин рассказывал с необыкновенной осторожностью: как бы опять не наскочить, не ушибиться. Довольно долго молчал, мусоля скрученную папироску. Крутил и мусолил тоже с осторожностью. Потом слегка сплюнул приставший к языку табак. И вдруг, с неожиданной решимостью прибавил:

— Умер он.

То, как он сказал это, удивило Валяева. Чем — он не знал; но удивило.

— Давно? — спросил он для чего-то.

Брагин не ответил. Он возился с зажигалкой: «чик, чик, чик». Зажег, наконец, раздраженно сунул ее в карман. Как бы от кого-то отмахиваясь, пробормотал:

— Да, мылом, мылом!

«Что за дурацкая у него поговорка», — подумал Валяев.

— «Давно»? — точно проснувшись, переспросил Брагин. — Нет, недавно. В сравнении с вечностью.

Он прыснул смехом. Лицо его стало похоже на лицо хитрой и злой старухи. Валяева покоробило.

— Да разве вы об этом не слыхали? — упирая на «разве», спросил Брагин.

— Нет, ничего не слыхал, — без особого, впрочем, интереса к судьбе этого Воблы, ответил Валяев. Однако, подумал: «Может врет. И фамилия какая-то неправдоподобная».

— Ну, так вот-с! — обрывая разговор, громко, с какою-то усиленной бодростью, даже с отвагой, произнес Брагин. — Вот-с, я теперь и остался без компани-она. Не хотите ли? Заработок небольшой, но верный.

— Много ли в день выработаю?

— Это... смотря по работе. Приезжайте ко мне, я вам все производство покажу. А там условимся.

— Что ж? я очень рад, — сказал Валяев. «Плевать, что несимпатичный», — подумал.

— И я рад. — Брагин нервно оживился. — Тоска, знаете. Я вообще склонен... А тут еще эта история. — Он пристально посмотрел на Валяева. — Вы именно тот компани-он, какой мне теперь нужен.

— Так когда же? — спросил Валяев.

— Да едемте сейчас! — В оживлении и решительности Брагина было что-то болезненное: так, слишком быстро и не в меру, оживляются хронические неврастеники.

— Сейчас? — удивился Валяев. — Да ведь уж поздно. Когда же я вернусь? И трамвай от вас, небось, до десяти.

— Да вы у меня ночуете, — все по-прежнему спешил очень довольный своей выдумкой Брагин. — Пустяки! — никакого стеснения. Постель есть. Будьте покойны! Вы мне даже одолжение сделаете, ей Богу. — Говоря это, он опять насупился. Усы задвигались, как у таракана. — Да, да!... — С трудом удерживаясь от своего странного восклицания, он встал.

— Хорошо, едемте! — немного подумав, сказал Валяев.

У остановки долго ждали трамвая.

— Ветер этот проклятый, — ворчал Валяев. — Я еще с ночи чувствовал.

— А, так и вы... — начал было Брагин, но не договорил и стал всматриваться, не идет ли трамвай.

Это была его манера: начнет, потом спохватится, и сейчас же, иногда довольно неудачно, подыщет своему молчанию внешний предлог.

В трамвае, сидя против Брагина, Валяев все время приглядывался к его отражению в стекле темного окна. При этом он как-то еще яснее, чем прежде, увидел, что лицо у Брагина противное. «И чего я с ним связался?» — подумал.

— Выходить, — сказал тот.

Трамвай остановился. Они вышли. Узенькая, совсем пустынная улица была почти темна. Издали, сверху светил одинокий электрический фонарь. Журчала быстро бегущая по камням вода. Пахло горной деревней: парным молоком и навозом.

Когда трамвай, бросая из окон в темноту свет, тронулся, Валяев подумал: «Напрасно я иду к нему». Но на этой мысли, неприятно его все-таки поразившей, он не остановился.

Брагин, точно ему и дела не было до его спутника, пошел вперед, сейчас же свернул, мимо деревянного огромных размеров креста, на еще более темную улицу.

Начался дождь. А ветер не переставал, даже усилился. Бившую из водоразборного крана светлую струю, распыляя, относило в сторону.

— А я и не спросил, когда последний трамвай, — спохватился Валяев. — Может, я успел бы.

— Да зачем? — скорчившись от ветра, обернулся к нему Брагин. — Переночуете. Устроимся, как нельзя лучше... Будьте покойны!

«Будьте покойны» — было у Брагина привычкой. Валяева эти успокаивающие слова почему-то тревожили.

Шли мимо старой, приземистой церкви со звонницей без колоколов, под широким каштаном. Шли мимо освещенного кабачка, перед которым было много велосипедов. И мимо другого, перед которым велосипедов не было. Наконец, улица прервалась, пошли отдельные невзрачные домишки, окруженные огородами и пустырями.

— Прошу! — остановясь и толкнув деревянную шаткую калитку, сказал Брагин.

Валяев вошел в огород. На нем, сколько можно было видеть, ничего не росло. Терпко пахло картофельной ботвой. Шагая по лужам, он увидел впереди слабо освещенный изнутри квадрат стеклянной двери. Брагин обогнал Валяева, вынул ключ, повозился и отпер.

— Я думал, вы один теперь живете, — сказал Валяев.

Брагин ничего не ответил. Может быть, не расслышал.

Комната была большая, но низкая, с закоптелыми балками нависшего потолка. Стены — тоже давно не беленые, грязные. Направо от двери зияла черная ниша камина. Ее загораживала маленькая, еще горячая, чугунная печка, над которой безобразным коленом торчала труба. На печке стоял кофейник, а на веревке, низко над ним спустившись, сушились носки и грязные тряпки.

Мебель старая. Шкафы, похожие на вертикально поставленные гробы, с потемневшими нарисованными на них цветами. Массивный, тоже старинный, стол. Стулья простые деревянные с почти у всех провалившимися соломенными сиденьями.

В глубине этой просторной, неуютной комнаты виднелась узкая, наверно скрипучая, витая лесенка, ведущая наверх.

Все здесь сразу не понравилось Валяеву. «Как свинья живет», — подумал. Но это было еще далеко не все, и даже — не главное. Главное было — тяжелое беспокойное чувство, которое охватило его, как только вошел. И почему свет горел? Стало быть, врал, что компаньон умер. Но какая цель?

Он подошел к столу, на котором были набросаны обрезки лайки, и стояла странная машина с широким и тяжелым лезвием ножа. Орудие пыток какое-то.

— Это на что же у вас гильотина? — спросил он возившегося у печки хозяина.

— Кожу резать.

Никогда Валяев не чувствовал себя так, как сейчас, в этой комнате. Ветер снаружи все усиливался. Это могло действовать. К тому же, за ужином он много выпил. И давешняя история с хозяином... Но все же — странно. Как-то так, как никогда не бывает. С ним, во всяком случае, не было ни разу.

— Ну, что ж? показывайте производство, — сказал он.

— Куда же спешить? — насыпая в печку уголь, возразил хозяин. — Ведь вы ночуете. Завтра утром все разберем. Теперь темно. Да и устали мы оба. Лучше кофею напьемся.

Он поставил на тот же непокрытый стол две чашки без блюдцев. Достал столовую алюминиевую ложку и мелкий сахар в жестянке.

— Вы не поверите, как я рад, что с вами встретился, — сказал он, садясь возле Валяева, и обняв рукою спинку его стула. — Вот увидите, отлично работать будем.

— Зачем у вас наверху горит электричество? — вдруг почти грубо перебил Валяев.

Брагин отнял обнимавшую спинку стула руку.

— Ах, электричество... — Он замялся.

— Вы, стало быть, не один живете? — опять резким тоном следователя спросил Валяев.

— Один. Совершенно один. Как перст. — Брагин как будто оправдывался. — А электричество — так это нервами объясняется. Они у меня не в порядке.

Он пошел вглубь комнаты и медленно, словно нехотя, начал подниматься по винтовой лесенке. Наконец, исчез.

Валяев прислушивался. Ему показалось, — наверху шепчутся. Свет там погас.

— Да, да, разумеется! — уже довольно громко и нетерпеливо произнес Брагин. Появились сначала его ноги, потом туловище, голова. Он спускался с большою осторожностью, держась за перила.

— Кто у вас там? С кем вы разговаривали? — злобно, с вызовом крикнул Валяев.

— Никого там нет! — не сдержав раздражения, парировал Брагин. — Говорю же вам — никого! В том весь и ужис: ни-ко-го!

Он подошел к печке, взял с нее кофейник и наполнил обе чашки. Руки его тряслись.

— Это нервы, — забормотал, совсем сбавив тон. — Будьте покойны, просто нервы. Они у меня не в порядке. И раньше. Давно. Но теперь особенно. Теперь, после этой истории с Воблой... Вы себе представить не можете, как он меня замучил. Тяжелый он был человек, очень тяжелый. И, знаете, засел на этой мысли. А на меня действовало. Тем более, что

он ее обосновывал. Ну, там тщетою жизни и тому подобным. Я соглашался. То есть, разумеется, теоретически, не ожидая последствий. Ведь действительно, что там ни говорите, а цели в жизни нет. Все суета и томление духа. Не так ли? Для современного культурного человека, который многое отбросил и многое постиг, — слишком понятно. Логически вытекает отсюда то, что Вобла называл «последним актом». Для сильного человека между теорией и осуществлением — пропасти, как он объяснял мне, быть не должно.

Брагин говорил нудно. Крайне медленно, все с тою же всегдашней осторожностью, как бы не напороться. И, вместе с тем, в постоянно выскальзывающих от Валяева глазах его, уже было растерянное сознание того, что вот-вот напорется, на этот раз — окончательно.

— Все же я не думал, — продолжал он, немного помолчав. — До последней минуты не думал. Считал с его стороны за пустой разговор.

Взяв суповую ложку, он насыпал себе в чашку сахара и начал, как веслом, в ней мешать. Валяев молча на него смотрел. И вдруг спросил:

— Где это было? Здесь?

Лицо Брагина мгновенно изменилось: стало торжественно-строгим. Он оставил ложку, повернулся на стуле и, не говоря ни слова, преувеличенным жестом вытянутой руки указал на закоптелую стену над камином. Валяев не понял. Только маньякальное что-то поразило его в этом жесте. Брагин пододвинул свой стул тесно к стулу Валяева, так что столкнулись коленями.

— Вообразите себе... — начал он, задыхаясь. — Вообразите, возвращаюсь раз поздно вечером. Точно такая же ночь была, как сейчас. Ветер, буря. Слышите?.. Слышите, что на дворе делается? Вот и тогда. Я боюсь, что и я... Именно в такую ночь... Вхожу я. Темно. Стало быть, думаю, нет его. Вышел куда-нибудь. Странно... в такую погоду... И только подумал, — там вон у двери стою, — только подумал, — продернуло вдруг всего ужасом: здесь он, знаю, что здесь.

Наверняка. И еще что-то знаю, только верить себе не хочу. «Что ты тут в темноте?» — бормочу. — «Что не зажигаешь?» Молчит. В двух шагах от себя его чувствую. Трясущеюся рукою выключатель нащупал. Повернул, — не горит электричество. Я стою, не знаю, что делать. И окликнуть его уже не смею: своего голоса боюсь. Повернул в отчаянии еще раз выключатель, — зажегся свет. Я вот так стоял, к камину спиной. Оглянулся... А он... а он... а он...

Каким-то собачьим лаем оборвался голос Брагина. Валяев покосился на ту стену: над камином в нее был вбит большой костыль.

— Пойду я, — сказал он нетвердо, и встал.

— Постойте! — вцепился в него Брагин. — Постойте, еще не все. Вы думали — все? Нет еще. Слушайте. С тех пор, — этому скоро полгода, — каждый вечер, как только лягу, потушу свет, — слышу... громко, вот, как мы сейчас... Нет, пожалуй, потише... Но явственно... А голос у него сипловатый немного. Из тысячи отличу. Говорит, говорит... Измучает всего. Убеждает, знаете. «Чего, мол, трусишь? Решайся...» А потом советы давать пойдет. Так-то сделай, да этого-то не забудь. Во все детали входит. Даже удивительно. Особенно настаивает на одном пункте. «Боюсь, говорит, как бы ты этого не упустил. Это крайне важно. Это главное. И погуще, знаешь, ее, погуще...» До того доведет, что отвечать начинаю. А ведь это — первый признак помешательства. Но, с другой стороны, могу ли приписывать нервам, когда, как колебания воздуха, ухом воспринимаю? Сначала только в темноте. Потому и жгу электричество всю ночь напролет. Когда ухожу — тоже: чтобы вернуться не страшно. Электрисиен и тот удивляется: много, говорит, у вас идет. А вот самое последнее время, представьте, начинаю иногда и при свете слышать. Даже когда я не один. Разговариваю с кем-нибудь, а он встревает. Лезет со своими советами. Вот и скажешь ему иной раз слова два, чтобы отвязался. А людям смешно. Что вы об этом думаете?

— Лечиться надо, — снимая со стены пальто, хмуро отозвался Валяев.

— Лечиться? — переспросил Брагин уныло и недоверчиво. — Да, да! ...Что ж? не хотите в компани-оны?

— Нет уж, увольте.

— Жаль. Но я понимаю. Я отлично понимаю. Ночевать-то хоть останьтесь!

— Нет, пойду.

— Поздно, не попадете.

— Наплевать, — проворчал Валяев. — Пешком дойду.

Дождь лил теперь не только сверху, но со всех сторон. В мгновение ока Валяев был мокр до нитки. Что-то буйное, выскочив из-за угла, сорвало шляпу. Побежал за нею по лужам, едва догнал.

Попавшийся навстречу, покрытый брезентом, велосипедист, на вопрос о трамвае, ответил, что последний только что прошел.

«Пожалуй, и в самом деле намылит», — шагая по рельсам, думал Валяев. — Да чорт с ним, пускай мылит! Сумасшедший! Свяжись с таким, так и самому недолго...

Через несколько дней, сырым, туманным, но безветренным вечером, Валяев, по обыкновению, входил в свое кафэ. Он продолжал работать на лесопилке: с хозяином, при помощи Берты, помирился; был в приятном расположении.

Войдя в большую ,слабо освещенную комнату, он сразу увидел сидящего возле раскаленной печки Брагина.

«Чорт тебя опять принес!» — подумал злобно.

— Ну, как дела? — спросил, небрежно протягивая руку.

— *Дела?* — значительно подчеркивая, переспросил Брагин, и пустил в него искоса ядовитый взгляд. — Скажите лучше *дело*. *Дело* теперь за вами.

— За мной?

Тот важно наклонил голову.

Хозяйка ставила перед Валяевым суп. Брагин ждал, когда она отойдет.

— Вы вот рассердились на меня намедни, — начал он вкрадчиво. — А ведь я тут ни при чем был, — его затея. И сейчас все свое ладит: «Сыщи, да сыщи компани-она. Непременно, говорит, *прежде* сыщи компани-она». *Прежде* — понимаете? А потом — *то*. Так, что, видите, дело-то, действительно, за вами.

Он вдруг прыснул своим мерзким смехом старой ведьмы.

— Убирайтесь! — с угрозой произнес Валяев. Не поднимая глаз, он хлебал свой суп.

Некоторое время оба молчали.

— Так как же? — мягко спросил Брагин.

Валяев — точно не слышал. Продолжал глотать ложку за ложкой.

Тот медленно, опираясь на стол, поднялся.

— Дверь я свою теперь никогда не запираю, имейте в виду. Когда меня и нет, — в любое время можете. — Уже у выхода ласково шепнул: — *Дело это* между нами решенное, будьте покойны!.. До скорого свидания, компани-он!

Валяев на секунду опешил. Потом, вдруг сорвавшись с места, кинулся за ним наружу:

— Гадина! — заорал он в бешенстве. — Сунься еще, — раздавлю, как мокрицу!

В ответ — ни звука. Туманная ночь уже успела поглотить Брагина.

БЕССОННИЦА

Устал я. А ночью опять не засну. Отчего? Мысли? Нет, о своем — никаких. Так, пустяки. Совершенно постороннее. Но беспокойно.

Вот, хотя бы, о машинисте об этом. Главным образом — о нем. Сегодня утром, прежде чем сесть в вагон, я видел его лицо. Бледное, перепачканное. Измученное. С черными, такими тревожными глазами. Верно и у него бессонница .Нездоровый. Да, очень он нездоров глубокой, застарелой болезнью. И неприятно мне почему-то думать, что вот, этими трагическими, не идущими к его простому делу глазами, смотрит он сейчас вперед на полотно.

А господин напротив меня — читает газету. «Ami du Peuple». Совершенно спокоен. Трагических глаз машиниста он не видел. Не обратил внимания, забыл. Или не хочет знать.

Рядом с ним — дама. Вяжет маленькую белую кофточку для грудного. Из пуховой шерсти. Что если сказать этой даме о машинисте? Вот, мол, сударыня, вы сидите здесь спокойно, думаете — благополучно все, — а впереди, на паровозе... Вздор, впрочем. Зачем пугать? Она занята: петли считает. Пусть.

Надоел мне этот телеграфный звонок. Он давно дребезжит. Бесконечно давно. О чем он предупреждает? И почему мы так долго стоим на этой никому не нужной станции? Что-нибудь, наверно, случилось. Путь несвободен?.. Крушение?.. Надо узнать. Да ведь не скажут. Может быть, машинист... Что-то всем нам, несомненно, грозит. Оставаться в этом вагоне, ехать дальше — нельзя.

Беру мой чемодан и спокойно, не торопясь, выхожу. Никто даже не удивился. Чего ради? Разве не безразлично для них — куда я и зачем? Поезд, словно моего выхода только и ждал, сразу тронулся.

Длинная платформа. Одинокий станционный служащий, — тот же, что и на всех станциях, — стоит на ней, как среди пустыни. Звонок продолжает дребезжать: настойчиво о чем-то предупреждает. Вдали, там, куда уперлись рельсы, еще виден темный четырехугольник последнего вагона, того, в котором я только что сидел. Дым еще пачкает вылинявшее на солнце небо.

Зачем я вылез? Зачем именно здесь, на этой заброшенной станции? Нелепо. И только со мною одним и может случиться. Машиниста испугался. Его сумасшедших глаз. Какое мне дело? Сам сумасшедший.

А, может быть, я испугался недаром? Может быть, мне грозила смертельная опасность, и это было предупреждение? Может быть, завтра я прочту в газете, что произошло крушение поезда, что господин, который читал «Ami du Peuple», и дама с вязанием, и все... Я слышал о таком чудесном спасении. Не помню где.

Но если подойти к делу просто, житейски, то ведь ясно, что на этой станции мне делать совсем нечего.

— Когда следующий поезд в Марсель?

Станционный служащий надул щеки и, приняв вид дурака, выпустил воздух.

— В Марсель поезда теперь не будет.

— Как «не будет»?

— Поезд в Марсель идет в двенадцать ночи.

Я пошел. Понятно, он остался стоять и с идиотским видом смотрел мне вслед.

Чемодан мой я не догадался сдать на хранение и тащил с собою.

— Есть здесь, по крайней мере, гостиницы? — крикнул я, обернувшись.

— Bien sûr! — выпустил вместе с воздухом. — Пройдя мост, вы увидите: большой дом на левой стороне. Но берегитесь собаки!

Он еще что-то мне крикнул, — я не разобрал.

Белая дорога. По краям — белая от пыли ежевика с черными припудренными ягодами. Ни души. Так-таки ни души тут, стало быть, и нет, кроме меня и моей кудой тени. Легко, быстро катится она у самых ног, черным комочком. Похожа на веселую косматую собачонку... А что такое кричал мне сейчас о собаке этот станционный служащий? И что ему вздумалось меня предостерегать? Тут, очевидно, злые собаки. Что ж? — вполне возможно. Самый обыкновенный факт, о котором и говорить не стоит. Не даром же, однако, он меня предостерегал. Что если случится, например, следующее. Машинист с сумасшедшими глазами довезет моих спутников — куда кому нужно. А на меня, взбунтовавшегося против судьбы и пожелавшего от нее улизнуть, — на меня-то она и накинется вдруг, хотя бы под видом простой собаки. Это фельетон я такой читал в газете — «От судьбы не уйдешь». Еще подумал, читая, что неправдоподобно.

У спуска с моста через сухую канаву, попалась мне навстречу крупная белая лошадь. Она тащила тяжелую двухколесную телегу с гранитным щебнем. От грохота телеги сильнее почувствовалось оцепенение пустой, скованной солнцем дороги.

Дом оказался совсем не «большой». И не на левой стороне, а на правой. С облегчением вошел я в прохладную пахнущую вином комнату кафэ. Сквозь вырезы затворенных ставен, падало в ее сумрак несколько ярких солнечных лучей. Стеклянная граненая посуда, на полках против двери, — вспыхивала где — ярко-оранжевым, где — густо-лиловым или зеленым зайчиком. Показалось мне сначала, что в комнате никого нет. Но за стойкой послышался шорох; и старушонка — низенькая, востренькая и горбатая — вылезла оттуда с вязаньем в руках. Что-то в ней было ужасно противное: то ли жидкие, гладко прилизанные волосы, сквозь которые

всюду сквозила цыплячья кожа, то ли глаза, слишком светлые, зеленого бутылочного стекла. Но вернее, — что желтые лошадиные зубы, которые лезли наружу, даже когда рот был закрыт.

— Monsieur désire? — спросила не шедшим к ней тринадцатилетним голоском.

Приходу моему она как-то излишне обрадовалась. Когда она подошла ко мне, я почувствовал, что от нее дурно пахнет. Вообще эта старуха сразу возбудила отвращение. Хотел, было, взять стакан вина, выпить и уйти. Вместо этого, когда выпил, спросил:

— Есть у вас комната?

— Комиата? На месяц?

— На одну ночь.

— А, на одну ночь! Это другое. — Что-то соображая, она почесала спицей у себя надо лбом. — Venez!

Мы поднялись по узкой, крутой лесенке. Обшарканные и гладкие от множества попиравших их ног ступеньки скрипели и охали.

Ставни наверху были тоже затворены. Старуха сделала мне знак, и сама стала говорить шепотом. Очевидно, кто-то отдыхал после обеда. Она толкнула двери, и мы один за другим протиснулись в маленькую комнату. Вся она была занята широкой двуспальной кроватью. Старуха приотворила ставню Ярко рдел над окном кирпичный выступ карниза. Зеленым золотом струился с него дикий виноград.

Солнце, ударяя в комнату косо, освещало соломеиное сиденье стула, клетчатую (красную с желтым) клеенку умывального столика. Тонкими лучами бил в глаза блик на голубом эмалированном кувшине. И от этого яркого угла остальное — то, что было в тени, особенно кровать, — казалось иеприятным, сырым и мрачным.

— Que voulez-vous? Ce n'est pas comme à Paris, — заметив мое колебание, сказала старуха. — А постель хорошая, широкая. Для одного — даже слишком широка. — Она засмеялась противным тонким смехом. Лошадиные зубы

выставились сильнее. — И тюфяк мягкий, из чистой шерсти. Это еще до войны. А теперь такой и не найти.

Я сказал, что остаюсь. Поставил чемодан в угол, снял пальто. Старуха взяла с умывальника пустой кувшин и вышла.

Слышался стук сабо. Внизу, на крыльце, которого за диким виноградом я не мог видеть, смеялась девушка.

По деревне, несмотря на неурочный час, хрипло и надсаживаясь орали петухи. От моста ковылял хромой в залатанном синем рабочем костюме. Две паршивые собаки обнюхивали огромное оцинкованное ведро, доверху, так что крышка не закрывалась, наполненное отбросами. На противоположной стороне улицы, в четырехугольнике светлой, не дающей глазам отдыха тени, сидела костлявая женщина в черной соломенной шляпе грибом и вязала. Она сидела необыкновенно прямо, неподвижно. Только изредка, разматывая клубок, отводила правую руку, а потом, застыв в прежней позе, равнодушно вздрагивая пальцами, продолжала подхватывать петли.

Дом*а* — все из серого гранита. Хмурые, не выспавшиеся. Кирпичная облицовка окон напоминает красные веки воспаленных бессонницей глаз.

Я отошел от окна. Это не деревня, а кладбище какое-то. Гранит надгробный. Женщины все в черном. И всем им за пятьдесят. Опровергая мою мысль, внизу опять послышался молодой женский смех. Молодой, но вовсе не веселый: точно на зло кому-то она там смеялась.

Меня это не касается. Раз я сегодня ночью уезжаю, то какое мне дело?

Постучали в мою дверь: это старуха притащила кувшин с водою и целый ворох постельного белья. Хотела стелить, но я сказал, что сам все устрою. Протестов слушать не стал; выпроводил ее; заперся на ключ.

Зачем взял я номер? На этой кровати все равно не усну. Дождусь как-нибудь двенадцати часов, сяду в поезд. А что касается машиниста, то, во-первых... И потом разве я обязан

о нем думать? Я буду спать. Просто — спать. Как другие. Как все.

День я, однако, провел не «как все»: лежал на непостланной кровати и рассматривал желтые обои, заметно тронутые сединою плесени. Занятие ничуть не хуже всякого другого: можно увидеть любопытные вещи. Впрочем, на этот раз пятна на обоях ничего нового мне не дали: знал и без них, что нужно из этого отеля убираться. Но что-то удерживало.

К ужину я сошел вниз. Из кафэ, навстречу мне, выскочила девушка в коротком и узком платье.

— Альбертина! — крикнул от стойки хриплый мужской голос. Она остановилась и, быстро повернув голову, взмахнула черными стриженными волосами. Сережка-жемчужина закачалась, как маятник. Усмехнувшись, девушка бросилась назад в кафэ.

Я вошел за нею. Ставни были теперь отворены. Присев на корточки, Альбертина цедила из бочки вино. За стойкой стоял толстый человек с обтянутым грязным фартуком животом. Волосы, усы и эспаньолка были у него совершенно белые, резко отделяющиеся от медно-красного лица. Он напоминал Фальстафа. Особенно глупо было видеть на этой наглой красной роже — голубые, как незабудки, ребяческие глаза вечно юного Силена.

— Господин желает ужинать? Жена сейчас придет. Смотри, что делаешь! — крикнул он Альбертине. Она глядела на меня, смеясь своим алым, четко выписанным ртом, бутылка переполнилась и вино текло на пол. Повернув кран, она встала, пошла к двери. Опять оглянулась, метнув глазами и сережкой.

Старуха выползла из-за синей ситцевой занавески.

— Пожалуйте в залу! — пригласила церемонно.

Я вошел в низкую, большую комнату, уставленную железными столиками и стульями. В глубине ее зеленел сукном бильярд. На одном из столиков уже был накрыт для меня прибор. Альбертина поставила перед ним бутылку и, не желая уходить, вертелась около зеркала.

Зеркало было большое, во всю стену, с какими-то нелепо нарисованными по его тусклой поверхности цветами. Уродливо искаженное, глядело из этих цветов голубое от пудры лицо Альбертины с кроваво-красным ртом. Я поскорее отвернулся. Показалось, могу увидеть там нечто еще худшее.

— Альбертина! — опять позвал из соседней комнаты Фальстаф. Близко проходя, она толкнула меня локтем и, засмеявшись, вышла.

В зале было совершенно тихо. Только противно жужжала большая муха. Она прилипла к свешивающейся с лампы полоске клейкой бумаги. На минуту замрет. Потом снова начинает нудно и мучительно биться.

Уже надвигались сумерки. Сквозь тусклую, подернутую цветами поверхность зеркала, комната представлялась как бы отраженной в стоячей болотной воде. И странно было видеть ее там такою обыкновенной. По стенам висели рекламы вин, шоколада, какао. Три — рекламных же — отрывных календаря. На всех трех: 11-ое июля. Мне удалось вспомнить, что сегодня 24-ое августа. В углу темнел высокий ящик старинных часов. Маятник, похожий на крышку медной кастрюли, висел неподвижно. Стрелки показывали четверть второго. Ничего удивительного: старые часы испорчены и не ходят. Да и неоторванные календари тоже ровно ничего не означают.

Вошла старуха с тарелкой, уложенной темными кусочками колбасы. Хлеб она несла, прижимая к засаленной груди. Когда она двигалась, то голова ее в зеркале то становилась широкой, как репа, то, напротив, вытягивалась в морковь. А я смотрел туда и думал: «Если правда, что в жизни нашей не бывает случайного, то чем объяснить мое здесь присутствие? Неужели, действительно, так именно и нужно, чтобы я, сидя на дне этого заболоченного пруда, ел черствый хлеб и колбасу с чесноком?»

От сумасшедших глаз машиниста я, однако, удрал. От гадкой старухи, Фальстафа и Альбертины — удеру и подавно. Пусть себе на здоровье отражаются в подслеповатом зеркале. Туда им и дорога. Лишь бы меня с ними не было. И вот, ког-

да я подумал это, неприятно кольнула мысль: хочу или нет, а что-нибудь из здешнего унести с собою придется.

Кончив ужинать, я попросил счет.

— Разве мосье не ночует? — удивилась старуха.

— Мой поезд уходит в двенадцать.

— Но такого поезда нет.

— Куда едет мосье? — спросил Фальстаф. Красная рожа и незабудковые глаза выглянули из зеркала. — В Марсель? ночного поезда в Марсель нет. Вы имеете скорый, который проходит утром, в четверть седьмого.

— C'est entendu! — фамильярно вмешалась старуха. — Я бужу вас в четверть шестого. Надо отдохнуть немножко. И потом, ночью, вы знаете...

— Разве тут небезопасно? — спросил я.

— Мосье спрашивает? — не поняв меня, переспросил Фальстаф. Вдруг сообразил: — Да нет, не в этом дело. Здесь можно быть спокойным.

— Здесь можно быть совершенно спокойным, — подтвердила старуха.

— Это-то я и говорю. Я говорю, не будь этой собаки... Надо предупредить вас, что у лесного сторожа сбесилась собака. Это по ту сторону полотна. Огромный chien-loup. Сторож второй день не ночует дома. Сюда то она, резумеется, не забежит. Но со стороны станции...

— Дедушка говорит, что ее уже застрелили, — выходя из зеркала, вмешалась Альбертина.

— Твой дед, во-первых, из ума выжил. А, во-вторых... Что он может знать, твой дед? — сердито напустился на нее Фальстаф. — Не суйся, где тебя не спрашивают! А этот поезд, о котором вы говорите, это омнибус. Он на полчаса позднее, чем утренний, приходит в Марсель.

Старуха выставила на меня лошадиные зубы:

— Спите спокойно! А утром вам и завтрак будет. Вы что предпочитаете: кофе или шоколад?

— Благодарю. Я поеду ночным.

— Laissez-le faire, — буркнул, уходя, Фальстаф. Он принес мне счет, дал сдачу и, сухо пожелав покойной ночи, сказал:

— Она уже двоих искусала: сторожева сынишку и телеграфиста. Обоих отвезли в Пастеровский институт. Enfin, мое дело было предупредить.

— Дедушка вам отопрет, он здесь внизу ночует, — протискиваясь мимо меня в коридоре, сказала Альбертина.

Я поднялся к себе. Повернул выключатель. Лампочка не зажглась: должно быть — перегорела. Освещая комнату карманным фонариком, я, не раздеваясь, прилег на кровать.

Почему они оба так уговаривали меня остаться? Какая им выгода? Но о бешеной собаке я слышал и от станционного служащего. Значит, это не выдумка. Или — не совсем выдумка. Стало быть, я правильно предвидел: тут и скрывается разгадка всего со мною происходящего. Не особенно, конечно, приятная. Впрочем, быть искусанным бешеной собакой *в назидание:* «не бойся сумасшедшего машиниста, не поддавайся ложной панике» — на это я согласен. Даже с охотой.

Я погасил свой фонарик, но заснуть, конечно, не мог. Добрый час ворочался с боку на бок. В доме была полная тишина: все, должно быть, спали. Вдруг внизу послышался шум.

— Le voilà qui s'amène, — кашляя и отхаркиваясь, сказал где-то совсем рядом голос Фальстафа. — Enfin, j'en ai assez!

Послышался уговаривающий шепот Альбертины.

— С тех пор, как он в доме, я плачу за электричество вдвое, — продолжал Фальстаф. — У меня не ночлежка...

Опять ее шепот:

— Вы же знаете, что дедушка...

— У меня не ночлежка. Пускай спит у лесного сторожа. — Он звучно отхаркнулся. Под его тяжелым телом заскрипела кровать. Потом все на несколько минут стихло. И вдруг я услышал смех. Негромкий сладострастно-гортанный смех Альбертины.

Какое мне дело? Я не хочу и не буду вникать. Если так нужно, то — пусть. Мое дело сторона. Гадко, омерзительно, но — пусть.

Я зажег фонарик, взял свой чемодан и, крадучись, будто сам был участником гнусного дела, стал спускаться с лестницы.

Внизу все оставалось совершенно тихо. Только раза два, пока спускался, слышал я короткий, отчетливый звук: «чок!»... «чок!»... Потом, когда я был уже у самой двери залы, опять: «чок!»

Тихо подойдя, заглянул. Свет луны — трупный, стирающий краски, — ложился широкими полосами на ровную поверхность бильярда. Резко белели в нем костяные шары. Нагнувшись всем телом вперед и остро из-за спины выставив локоть, стоял вполуоборот ко мне — худой старик: он целился кием.

Секунду я не шевелился. Это... это я уже видел... Давно; может быть, — в детстве... Но где? Сказки Гауфа? «Харчевня в Шпесарте»? Где, где это было? Именно — вот так: бильярд, лучи луны из окна, острый локоть... И так же, как сейчас, это было без красок: старая гравюра. Пожелтевшая страница, которую память почему-то вырвала и сохранила.

И точно так же, как тогда, как там, — он обернулся. И тотчас же, похожее на водяное чудовище, — шевельнулось в зеркале его черное отражение.

Я повернул выключатель. Вокруг меня, от низко спущенной на блоке лампы, лег неширокий магический круг белого света.

— Давнишняя привычка! — пробормотал старик и положил кий.

Я сел за столик под лампой. На нем, как я потом заметил, стоял не допитый стакан красного вина.

Старик подошел ко мне неверной, подплясывающей походкой, какая бывает у людей давно и привычно пьющих. Воротник его пальто был поднят. Руки он совал в рукава.

Казалось, он зябнет; а в комнате было душно. Я пригласил его сесть. Он поблагодарил, сел.

— Прошу извинить меня, — хриплый голос его странно вибрировал, — но я боюсь, что мосье напрасно дожидается: хозяева легли спать.

— Не беспокойтесь: мне ничего не нужно.

— Да, да, не нужно их беспокоить. — Он, видимо, плохо меня понял или не расслышал. — Они теперь важным делом заняты. Я разумею патрона и Альбертину. Старуха-то, конечно, ни при чем. — Он засмеялся. Смех, как и голос, тремолировал. Помолчав немного, спросил:

— Не будете ли добры сказать мне, который час? — Просто из учтивости поддерживал разговор.

Я взглянул на свои часы. Что за чорт, — и мои остановились!

— Услышим, когда будут бить на церкви, — сказал старик.

Опять установилось — на этот раз очень прочное молчание.

Я глядел на него и уже не старался вспомнить, где его видел. Нигде я его не видел. Он был, просто-напросто, одним из уродливых исчадий моей бессонницы. Поражало только, что он в такой полноте материализировался. Особенно теперь, в электрическом свете, — живой старик, что-то вроде обыкновенного клошара. Худой, трясущийся, дряхлый. Распространял крепкий запах чеснока и винного перегара.

У него была манера — брезгливо шевелить губами и носом. Точно пробовал жевать что-то противное. Иногда, поплевывая, он слегка высовывал язык; пальцами снимал с него нечто невидимое. Заросшее седой, давно не бритой щетиной, лицо его ни минуты не оставалось спокойным.

— Слышите? — Мне показалось, что спросил он раньше, чем часы начали бить.

Они били очень долго. После последнего удара старик немного помолчал, ожидая, не ударят ли еще.

— Как теперь время тянется! — сказал он потом с унылым удивлением. Поднес стакан ко рту, но даже глотка не сделал и поставил назад. Брезгливо поплевал.

— Вы ведь знаете, разумеется, сапожника Кокара? — спросил вдруг таким тоном, будто мы уже раньше с ним об этом Кокаре разговаривали:

— Нет не знаю. А что?

Старик уставился на меня. Опять поплевал с омерзением.

— Я еще никогда не встречал человека, который бы не знал сапожника Кокара, — сказал он обиженно.

— Я не здешний.

— А! тогда другое дело. Да, это другое. С этого вам следовало бы начать.

«Странный субъект», — подумал я.

— Потому что здесь... Здесь, видите ли, его знают все. Вернее — знали. Дело в том, что он недавно умер.

— Он умер? — переспросил я. Сам удивлялся недоверчивому любопытству, которое возбуждал во мне этот ночной разговор с выжившим из ума стариком о не известном мне сапожнике.

— Да, он, к сожалению, умер. — Старик немного пососал из стакана. — Говорю «к сожалению», потому что он был, как ни как, вполне порядочный человек. А теперь таких остается уже не много. — Он посмотрел на меня, и в маленьких мышиных глазах его заметалось беспокойство: — Вы не имеете основания не верить мне.

— Я вам верю.

Старик пожевал на этот раз проворно с видимым удовлетворением:

— Bien aimable! Потому что, видите ли, когда кто-нибудь перевалит за восьмой десяток, то ему уже перестают верить. Его и слушать-то перестают. Почему? — не знаю. Но я так замечал. — Он тяжело опустился, осел вдруг. Даже жевать и поплевывать бросил. Губа отвисла. Лицо стало бессмысленным.

— Вы начали о сапожнике, — напомнил я.

— Что касается собаки, — забормотал он точно со сна, — так Кокар думал, что отдает ее в надежные руки. А бедняга чуяла. Не хотелось ей расставаться. Но, что делать: патрон не пожелал.

Он вдруг ударил своим слабым, трясущимся кулаком по столу.

— «Зачем», говорю я лесному сторожу, «зачем понадобилось тебе убивать бедное животное? Бешеная? Вздор. Не больше, чем мы с тобою». Он не давал ей пить, она от жажды и стала бросаться.

Старик высосал все, что оставалось в стакане.

— Так ее, действительно, застрелили? — спросил я, опять ловя себя на любопытствующем недоверии к его словам.

— А! Сам-то он, конечно, отрицает это! — с чрезвычайным оживлением подхватил старик. — Ему ничего другого, вы понимаете, не остается. Иначе он выходит подлецом. Перед сапожником Кокаром все, в конечном счете, оказались подлецами.

— А что такое, собственно, было с сапожником?

Старик деловито отодвинул стакан, положил на стол локти; приготовляясь к длинному рассказу, откашлялся:

— С сапожником Кокаром дело было, видите ли, так: Жил он против церкви. Дом, правда, небольшой, старый. Вы могли видеть, когда шли: два окна на улицу и дверь. Но на них хватало. То есть так думал Кокар. Что касается девчонки, то она была другого мнения. Откровенно говоря, я во всем виню мадам Вуаро, владелицу нового галантерейного магазина на углу. Посмотрите, чего только нет у нее в витрине. Я думаю, что даже в Париже вы не много найдете таких шикарных магазинов. Впрочем, я не был в Париже и не хочу говорить. Но что мадам Вуаро сбивала девочку с толка — это так. А толстое животное — я разумею патрона, — воспользовалось. Он нанял ее помогать по хозяйству. «Старуха», говорил, «не справляется. А я буду хорошо платить». Pourquoi pas? На мой взгляд, здесь нет ничего дурного. Кто же

мог знать, что так кончится? Но что старый Кокар продавал свою внучку — это клевета! Это клевета, говорю я! Бедняга ни о чем не догадывался. И вот, когда он узнал об этом, — он пережить этого не мог. Вы понимаете, он был уже чересчур старый, чтобы пережить это. — Старик тяжело подпер голову, как будто задумался, что дальше. — Ну, вот! — подхватил, словно вспомнив, — умер он. Но с похоронами вышла задержка. Знаете ли вы, мосье, что бедному человеку совсем не так легко добиться, чтобы его схоронили? То, да се, гроб не готов, да могила не вырыта. Наконец, старику эта история надоела. Он сказал себе: «Пора с этим кончить». Отлично. Идет он к кюре и просит, чтобы тот велел им немного поторопиться. Потому что он очень хорошо понимал, что уже время. Но кюре с ним не согласился. Он-таки упрям, наш кюре. Отличный человек, — но упрям. И когда вобьет себе что-нибудь в голову... Неужели так уж много места занял бы сапожник Кокар на нашем кладбище? И разве, пока мог, не оказывал он господину кюре всяческое уважение? Каблуки, например: с других он брал, как везде берут; а ему — 10% скидки. То же самое когда, бывало, подошвы поставить... Но этого нынче не помнят... Это забывается.

Старик поднес к губам совершенно пустой стакан. Пососал его. Потом, не то — всхлипнув тихонько, не то — икнув, опустил на стол голову, и затих. А я, сам не зная чего дожидаясь, продолжал сидеть.

Часы на церкви снова начали бить. Медленно. С томящими задержками перед каждым ударом. И опять — тишина. Только старик слегка посапывает. Я, наконец, догадался, что вовсе не обязан его стеречь, и встал. За мною робко выползло из-под столика то, без чего я не мог отсюда уйти. Так иной раз в гостях, когда начнешь прощаться, встает за тобою какой-нибудь скучный, весь вечер молчавший господин: «Вместе пойдем; нам по дороге». И рад бы — не вместе. И знаешь, что не отстанет.

— Monsieur! — тронув за рукав, окликнул я старика. — Дайте мне ключ, я ухожу.

Он заторопился вставать; начал шарить по карманам. С моею помощью дотащился до двери.

— Bon voyage, monsieur! Merci!

За что он поблагодарил меня? И как-то не мог я себе представить, что никогда уже больше этого старика не увижу. Про собаку (судьбу), которая стережет меня снаружи, я, выходя, — непонятным образом забыл.

Высоко в пустынном небе стояла жуткая своим одиночеством луна. Все — дорога, резкие тени, кусты — было до странности неподвижно. Неподвижно — и лишено красок. Опять — как на гравюре. Издали слышался чугунный нарастающий рокот.

Я шел медленно, очень устал. Чемодан меня измучил. И ведь, главное, — дрянью набит, ненужным. А за собою продолжал я волочить свою всегдашнюю «спутницу жизни». На вид, правда, нетяжелую. Но вид бывает обманчив.

Лишь только я поднялся на пустую, выметенную луной платформу, — как мимо, в громовом вихре, промчался ночной экспресс.

«Пассажиры безмятежно спят теперь в своих купе», — подумал я, не то — с презрением, не то с завистью.

Пройдя до конца платформы, я обернулся. И тут вдруг понял свое заблуждение: спутница только прикидывалась, будто покорно за мною следует. Нет, это она, — то толкая сзади, то забегая вперед, — неудержимо куда-то меня волочит.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Того же автора :

Памяти твоей, Издательство «Современные Записки», 1930 г.

Другие новеллы (230), см. «Иллюстр. Россия», «Звено», «Сов. Зап.», «Посл. Нов.» и т. д. Некоторые из них напечатаны также на иностранных языках.

Медуза, в сборнике «Пестрые Рассказы», Издательство имени Чехова, 1953 г.

Собери расточенных, готовится к изданию.

Dépôt légal 1er trimestre 1959. — Impr. Béresniak, Paris.